

ВАЛЕНТИН ВАСИЧКИН

ОСЕННИЕ
ЦВЕТЫ

- СТИХИ
- ПОВЕСТЬ
- ОЧЕРКИ



ОРЁЛ, 2012

ББК 84(2р)6
В-19

Художники *Гладкова О.И., Маркина А.А.*

Книга издается в авторской редакции

Валентин Васичкин

В-19 **Осенние цветы.** Стихи, повесть, очерки.
Изд-во «Типография «Труд». — Орёл, 2012. —
256 с.

В свою очередную книгу — «Осенние цветы» орловский поэт, прозаик и публицист Валентин Васичкин включил цикл новых стихов «С думкою светлой о родине», третью часть повести «Украденная любовь» (первые две части были опубликованы в книгах «Меридиан сердца» и «Ласточки на проводах») и очерки, продолжающие их серию под общим названием «От Москвы до самых до окраин».

ББК 84(2р)6

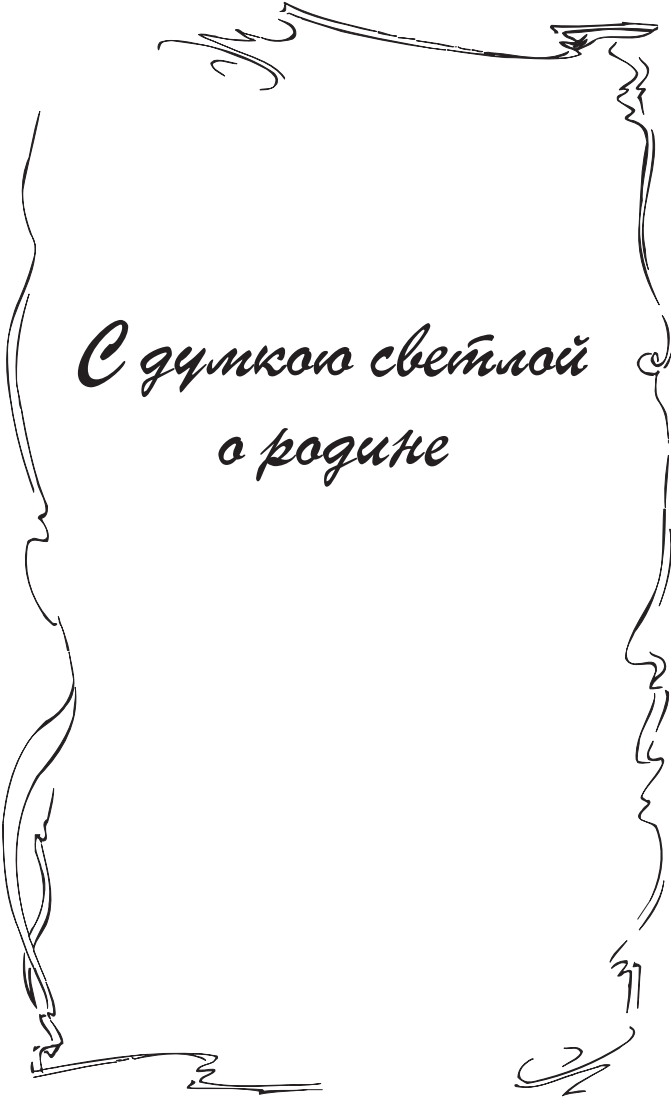
© В. Васичкин, 2012



*Милый край!
Всё поля да поймы,
Да ракиты по берегам.
В первом классе читали, помню,
Мы о родине по слогам.*

*Этот край нам в наследство даден!
И ещё запомнилось мне:
Мы писали о нём в тетради
Как о нашей большой стране.*

*Точно так напишут и внуки!
Их с лица земли не стереть —
И холмы, и речные излуки
Будут русское сердце греть!*



*С думкою светлой
о родине*

РОДИНА

Вот она, родина,
 самая-самая малая:
Домик над речкой,
 и чёрный – с весны – огород;
С поля туманного
 воды торопятся талые,
Мимо деревни,
 в которой никто не живёт.

Дальше всё так же,
 пойди по родимому краю,
В грустном безлюдье
 дрожит на ветру полынок.
Дикое поле!
 А свадьбы давно не играют
В дальней Гнилуше,
 где Галя живёт Голенок.

В шумной Оке
 громоздятся тяжёлые льдины,
Здесь лозняки и бурьян
 заслонили собой Тагино.
Смыло волнами Союз наш
 большой и единый,
Как на поминках,
 всё плачем и хлещем вино.

Рвётся наружу
 пьянящее чувство свободы,
В воздухе плавают
 запахи талой земли.
Строем и с песнями
 вышли мы все из народа,
Долго ходили
 и с матом обратно пришли.

Родина милая,
 самая малая, росинка:
Речка да поле,
 над полем колышется пар;
Редкие домики –
 с бору не выйдет по сосенке;
Пусто и страшно,
 как после набега татар.



Я – ЧЕЛОВЕК!

В небесных далях вечер золотой
Собрал неспешно звёзды на постой.
Пахнёт медком от каждого цветка,
И снова ночь, коротка и коротка,
Накроет мглой степное порубежье.
Таинственное синее безбрежье!

Какая тишь! И в этой тишине
Доверчиво сливаются во мне
Два мира, словно родственные души,
И каждый добр и разуму послушен.

Мой мир во мне, и я как человек
Приемлю мир другой – лесов и рек,
По-родственному думаю о поле;
Как и во мне, живёт в них чувство боли
За прошлое – оно вослед за нами,
Пусть даже и другое держим зная.

Я – Человек! Несу в себе величие,
Но мне близки дела семейства птичьего –
О хлебе думки, о воде, о детях;
Друзья у нас, а есть враги на свете,
Способные порушить всё живое.
Я слышу: пёс в ночи негромко воет,
Пожаловался мне, что на цепи...
О, Господи, всех нас за всё прости!..

Что эту жизнь порой не понимали,
Людские судьбы запросто ломали;
А кто-то не способен был ломать:
От власти сам, её крыл в бога мать
От ярости или, скорей, со страху;
За правду не готов он лечь на плаху.
Готов? А сребреник зажал в горсти?
О, Господи, всех нас за всё прости!..

Прощай творивших на земле злодейства
Распятый на кресте от иудейства.

Я – человек! И я всегда зависим
От этой речки, от небесной выси,
От поля знойного, от пенья птичьего;
Моё величие – от их величия.
Но мир не прочен; и мелеют реки...
В безбрежье синем я смыкаю веки.



* * *

Над поймой туман,
 как молочная каша,
Такую варила нам в детстве мамаша.

Бывало, достанет в зелёной кастрюле
Из печки, где жар, словно солнце июля.

Но каша над речкой! Дымится! Дымится!
В довольстве, наверное, вскрикнула птица.

А звёзды, как искры, погасли над полем,
И просится жар за холмами на волю.

Картина из прошлого — это немало!
И если душа твоя сильно устала,

Пораньше проснись и тропинкой июля —
Туда, где молочная каша в кастрюле,

Пока не остыла в холодном рассвете,
И лучше не будет лекарства на свете!



КТО Я?

Поднимается к небу подлесок сосновый,
Я старею, как ветка на дереве жизни.
Это значит, друзья мои, снова и снова
Отдаю свои силы земле и отчизне.

Где за белым туманом луга да истоки,
Где садов запустелых весеннее марево,
Полыхают печали в пожарах востока,
Над безлюдьем полей поднимается зарево.

Кто я есть на земле, непутёвый прохожий,
Из славянского племени отрок несносный?
Думать буду, что с Вятко по крови мы схожи,
Так подлесок похож на столетние сосны.

Думать буду, что мне до скончания времени
Уготована давними предками участь:
Сохранять на земле славу рода и племени,
Умереть — со спокойной душою, не мучась.



* * *

То лугами я, то просёлками,
Ухожу — держи не держи.
Ни овцы, ни коровы за колками,
И не стравлены рubeжи.

Мне навстречу деревни-сироты,
Этой властью они все брошены.
Ни колодцев у них не вырыто,
Ни дорог до них не проложено.

Мне навстречу туманов ключья,
А за ними всполохи дня.
Одинокая морда овечья
Вдруг уставилась на меня.

Да ещё слышу голос древний —
Промычал за дворами телок.
Словно всю скотину в деревне
Волк порезал и уволок.

Мимо них колесо прогресса,
Им — вся дурь столичных палат.
Ты зайди к ним, Путин, погрейся,
Когда в поле метели пылят.

Посиди — не протянешь ноги,
Даст хозяин тебе кожушок.
Только ты — ни мало ни много —
Им верни советский должок.

А иначе словами колкими,
Ещё хуже — обрывком вожжи...

То лугами я, то просёлками,
И никто меня не держи.

* * *

Все говорят, а я молчу
 Всё чаще.
И ложь от правды отличу
 В заздравной чаше.
Вокруг и рядом всё друзья,
 И все с любовью.
И среди них — с кем пить нельзя
 В любом застолье.
Сгорит закат. Потом рассвет
 Расправит плечи.
О, сколько в бренном мире бед!
 Отбиться нечем!
А это разве не беда? —
 Звучит банально,
Но — их заздравный слог всегда
 Как поминальный.
Им просто затушить свечу
 В небесной чаше...
Все говорят, а я молчу
 Всё чаще.
Перегружу размер строки,
 Но всё же
Скажу, что люди — чудаки:
 О, боже!

Кому пошли толпой служить
 За идеалы?
Вам — лишь бы как-нибудь прожить,
 А им — всё мало.

По росту Прохоров в деньгах,
 В мечтах — корона.
А мой сосед увяз в долгах,
 Продал корову.

А кто-то в поисках рубля
 Себе на пойло.
Он без ветрил и без руля
 Рулит запойно.

Кому-то прошлое как ночь,
 Мне — день погожий.
Смотреть совсем уже невмочь
 На телерожи.

Что сделали с большой страной
 За идеалы!..
Рассвет, как прошлое, со мной,
 И цветом — алый.



Та – весёлая, звонкая – всё-таки ближе нам,
С ребяtnей голопузой на пыльных дорожках.
А сегодня всем этим ты сильно обижена,
Разве что вот осины всё так же в серёжках.

Да всё так же кукушка кукует-аукает,
Коромысло цветастое радуги светится,
Что повесило солнце с утра над излуками
И у всех на виду, словно девка, невестится.



ВЕЧНОЕ О ВЕЧНОМ*В. Зубкову*

Вечер зажжёт звезду,
Месяц подковой.
Завтра опять на пруду
Встречу Зубкова.

Вот он, мой добрый друг,
Взгляд — половодье сини.
Рядом вихрастый внук,
Будущее России.

Здесь, среди русских равнин,
Где всё поля да излуки,
Будет у внука сын,
Будут у внука внуки.

Вечная связь времён!
Небо, земля и люди,
Ветер со всех сторон —
Сушит слёзы и студит

Ветер, бьющий в лицо.
Путь наш земной неведом,
Но сын идёт за отцом,
Внуки шагают следом.

Так же на склоне дня
Будут сидеть у излуки
Вместо тебя и меня
Правнуки наши и внуки.

Здесь, на притихшем пруду,
Для них, от забот уставших,
Вечер засветит звезду,
Нашу, но ставшую старше...

— Здравствуй, мой добрый друг! —
Взгляд — половодье сини.
Рядом вихрастый внук,
Копия — дед Василий.

Удочки и костёр,
Путь засветился Млечный.
Шепчет степной простор
Вечное нам о вечном.



* * *

Просыпаются рощи белые,
Новый день расстиляет зарю.
В жизни много хорошего делаю,
Добрым людям тепло дарю.

Новый день —
 он как песня вешняя,
В небе тучечки ни одной.
Всё родное, земное, вечное
Разливается надо мной.

Различу в шуме-гаме птичьем
Перепёлкино «фить-пирю».
На глазах за полем пшеничным
Новый день расстиляет зарю.

Тёплый ветер качает ветки,
В речку смотрятся лозняки.
И по поймам, как малые детки,
Светлоглазые родники.

Небо синее, рощи белые,
Гуси белые на берегу.
Все земные дела поделаю,
Людям делать их помогу, —

Если даже и не просили,
Если даже и не родня:
Ярко-красное в небе синем
С детства дорого для меня.

СОЛНЦЕ

Выглянуло, улыбнулось,
На берёзу взобралось.
Словно к сердцу прикоснулось,
Словом в сердце взорвалось.

Выше, выше — до макушки,
Чтобы всех было видать!
К самой маленькой зверушке
Подступила благодать.

Солнце в радость первоцветам,
Солнцем будет день богат!
Я ходил к тебе всё лето,
Когда солнце на закат.

Провожали за посадку,
А встречали от реки.
Днём светло, а ночью сладко —
Только ночи коротки.

Солнце ласковым словечком
Мне тревожило в груди,
Торопило из-за речки:
— Время вышло, уходи...

Выглянуло, улыбнулось,
На берёзу взобралось,
Увело седого в юность,
Сердце словно взорвалась.

* * *

«Тень» да «тень» поутру —
 это пташки прилётные тенькают.
Я в довольстве земном —
 по весне наслаждаюсь земелькою.
Всё хожу по буграм,
 всё дыщу её стылостью зимней.
Уловил в тишине,
 как тоскует земелька по ливням,
По теплу ясных дней,
 когда небо над нею высоко.
Вот услышал опять:
 бродят в ней застоялые соки.
Ожидают они
 твоего изначального часа.
Он пробил, этот час!
 Вот и дождик над полем начался,
В этих днях ты его
 терпеливо ждала после стужи,
Так, бывает, жена
 вечерами тоскует по мужу.
Тёплый-тёплый полил.
 Ничего, что принёс непогоду.
Как хозяйка муку,
 просевает над пашнями воду.
Всё хожу по буграм,
 говорю по-родному с землицей.
Развеликое счастье,
 что здесь довелось мне родиться!

Светлый день надо мной,
над пространством земным распахнулся.
Я тобою дышу,
от прихлынувших чувств захлебнулся.
Дрогнет сердце моё,
в жизни этой не знавшее лени,
И на тёплой земельке
в слезах припаду на колени.

Всё хожу по буграм,
наслаждаюсь тобою, земляца.
Тёплой каплей дождя
предстоит мне в тебе раствориться,
Прорасти,
прозвенеть колоском над тобой, созревая,
Где прошла моя жизнь,
вся, как утро, как день, зоревая.



БЕДА СО СЧАСТЬЕМ

За предками по жизни следом
Идём со счастьем и бедой.
Беда! Меня назвали дедом!
А для жены я молодой.

— Иди, — твердит, — катайся с горок!
В словах супруги нет беды.
Но я отметил только сорок,
Они скорей меня в деды.

В деды я всей роднёй записан!
За то, что с нею строг и смел,
Я трижды внучками описан
И даже внук один сумел.

Ворвались внучки:
— Деда, здравствуй!
Жмут руку внуки:
— Чао, дед!..
Я дед? Конечно, я очкастый,
Но дальше — никаких примет!

Скорее к зеркалу украдкой:
Жена права! Но на беду
Её вдруг называю бабкой,
Мы с ней стоим в одном ряду.

Она пыхтит:

— Совсем не дело!

Какая бабка из меня!..

Родня в защиту зашумела,

И навалилась на меня...

За предками по жизни следом

Идём со счастьем и бедой.

Любуйтесь, внуки: бабка с дедом

Довольны жизнью молодой!



НА ПОРОГЕ ОСЕНИ

1

Ещё немного — и мы без лета!
В саду отцовском всё больше света:
Плоды крупнеют и дозревают,
Играет сила в них зоревая.
Ещё немного — прогнутся ветки
Через ограду, к моей соседке.
В тиши рассветной —
 как божья милость —
Сорвалось яблоко и не разбилось.

2

Уходит лето по огороду,
Брат Ванька следом —
 с ведром по воду;
Колонка рядом, а он к колодцу,
Где ключ глубинный
 наружу рвётся, —
Святее места в округе нету.
Прощально машет рябина лету,
Обнявшись с клёном,
 к нему прижалась,
Вот и стыдливо краснеет малость.

3

Гусиный гогот поплыл над лугом,
Вот и подумай теперь, округа:
Гусиный гогот — он как тревога!
И первой слышит его дорога,
Лозняк над речкой, потом домишки.
Хромая лошадь заржёт у Мишки,
За лето сбила бетонкой ноги...
Ах, осень, осень, ты на пороге.

4

Заздравный день опять наполнил сад!
В большом довольстве яблони стоят,
Со светом вместе стелется покой,
Его я снова трогаю рукой.
А впереди пора земных забот!
Весёлым гудом пасаека зовёт:
— Не обходи сегодня нас, дедок!
Ульи стоят, как домики, в рядок;
Медком уже не тянет от летка —
Пора у медоноса коротка,
Ушла, весёлой песней прозвеня,
И вот сегодня ждут они меня.
Да здравствует пора земных забот!
К себе картошка скоро позовёт,
Потом ещё какие-то дела...
Мир добр пока — ни горя и ни зла.

ДЕРЕВНЯ АХНЕТ

Темень в звёздном многоточье,
Крепок снежный наст.
Из-за речки поздней ночью
Налетел Ераст*.
Отхлестал дома, сараи
Вдоль и поперёк.
Буйной силушкой играя,
На мороз обрѣк.

Увязался с ним на пару
Брат — суровый Родион.
Днём и ночью
 малых, старых
Сѣк со всех сторон,
Как Ераст,
 крупой ядрёной —
Лѣд со снегом пополам.
Через сутки за Матрёной**
Братья следом по полям.

*Ераст, Родион — в русском земледельческом календаре этот день приходится на 23 ноября.

Ераст на всё горазд (на стужу, на метель).

** Матрёна зимняя — 22 ноября.

В том краю,
 где спят закаты,
Не по возрасту легки,
Мчатся два суровых брата
Наперегонки.
Путь их выверен издревле!..
Рассосётся тьма —
Ахнет русская деревня:
— Батюшки! Зима!

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

В саду осенние цветы,
Вчера их опалила стужа.
Избавь, господь, от суеты —
Мы выгладим в ней неуклюже.

Печальнице — тебе трудней,
Но уступи хотя бы малость
И в чередe осенних дней
К себе же прояви ты жалость,
Что сделать бы давно пора,
И это будет очень мило.

Забудь, что, например, вчера
Меня в измене обвинила.
Присядь со мною у стола
(Ко мне уже, выходит, жалость),
Обсудим наши все дела,
У нас их тьма ещё осталось.

Тебе дал бог повелевать,
Ведь женщина сильнее мужчины.
Разглажу все твои морщины
И руки буду целовать...

Но всё в печали ходишь ты,
Что для обоих много хуже.
Мы, как осенние цветы, —
Который день сгораем в стуже.

А нам бы чуточку тепла,
Побыть подольше в бабьем лете,
Ведь ты ещё не отцвела,
И я ещё как будто в цвете.

* * *

Полынью зарастают межи,
Бесчинствует полынный цвет.
С тобой мы видимся всё реже,
И снова снегом — самым свежим
Заносит твой вчерашний след.

Ты прошлое не позабыла,
В тебе живёт потери страх.
И горький вкус полыни стылой
Ещё горче на губах.

А я друзьям своим завидую,
У них свиданьям счёт большой.
Над нами шутки безобидные:
Мол, отдыхаете душой.

Насмешники!
В добре вы звери,
И я вам не желаю зла.
Нам жить ещё в любви и вере,
А мы несём в душе потери,
И ноша эта тяжела.



МАЗАЙ

Проснулся рано. За окном метель,
Всю ночь она пылила мелкой пылью.
Скрипит берёза, словно коростель,
И улетела бы, да нету крыльев.

Чего не спится, дедушка Мазай,
И отчего в душе твоей тревожно?
Жена не скажет: «На печь полезай» —
Давным-давно такое невозможно.

Насели дети: время, мол, не то!..
Печь разломал и сладил водяное.
Теперь вот редко вспоминает кто
Про это чудо древнее, родное.

Печь сам сложил и зря, видать, сломал,
На ней бы грелись с ним его внучата.
Но кто, когда Мазая понимал?
От них уплыли все его зайчата.

Давным-давно не грел уже костей
На кирпичах, что сухо дышат жаром.
Живёт Мазай — подолгу ждёт вестей,
А по великим праздникам гостей
В своём дому, просторном и не старом.



*Украденная
любви*

ПОВЕСТЬ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Повесть

Часть третья

1

Осень всегда подкрадывалась незаметно. Иван Дмитрич Кондрашов знал, что она почти рядом, и редко какая из них заставляет долго ждать себя, но в суете набегающих дней всегда обнаруживал её присутствие с опозданием, когда под угрозами зимы она уже командовала всюю: там спрячь, там утепли, и поторопись, потому что скоро подступят холода. Он был слушником, делал всё, о чём напоминала ему осень как хорошая хозяйка: навёрстывал упущенное в полевых работах, готовил фермы к большим морозам.

А ещё знал Кондрашов, что с первыми пушистыми хлопьями снега, которые белыми мухами замелькают в свете остывающего дня, он будет удивляться: ведь ещё совсем недавно полыхали золотым пожа-

ром берёзовые перелески, вдоль тихой деревенской улицы горбатились огрузневшие яблони, сохраняя в прихлынувших ночных холодах зелёный окрас, а сегодня вокруг голо и бесприютно, дали затянуты туманной пеленой, и на душе такая же бесприютная серость. Так было уже много лет, а сколько их ещё впереди — об этом не думал.

Единственным светлым пятном в этой осенней бесприютности была Наталья; нет-нет, в его доме всё шло своим чередом, с Маруськой он ладил, но домашние заботы ими и оставались; они не поддавались никакому сравнению с той жизнью, которой жил он с Натальей. Всё чаще думал Кондрашов, что спрятанный в густых зарослях Натальин дом становится ему дороже, и с каждым новым днём он всё полнее ощущал его значимость в своей жизни.

Это острое чувство близости поселилось в нём после Настюшкиной свадьбы: порой ему казалось, что выдал замуж свою родную дочь, и вместе со свадьбой навсегда ушло всё неясное, тревожное, довольно часто подступающее к сердцу. А время между тем на месте не стояло: остались позади ещё три года, наполненные событиями разной значимости в колхозных делах и спокойно-размеренными в домашних.

Изредка тревожили гладь времени всплески всевозможных пересудов, первой зачинщицей которых всегда была Хомутиха. Однажды среди баб, собравшихся под Петров день на брёвнах покараулить солнце, она заявила:

— Лопни мой последний глаз, если я брешу, но вчера председатель опять катал Наталью; куда — ещё не знаю, но по всему — далеко.

— Откуда новость такая? — заинтересованно спросила постоянная её собеседница Фролова Тося.

— А это давно не новость. Он сколько уже её катает; вон Снегурочку скатали и ещё, бабы, скатают.

— Откуда? — не унималась Тося.

Брёвна, на которых они сидели, возле дороги, напротив Хомутихиного дома; тихий тёплый вечер неспешно зажигал неяркие звёзды; и на брёвнах такая же тишина: все ждали, что скажет Хомутиха. Томились недолго, ей тоже невтерпёж поделиться новостью:

— Гаврил мой вчера собрался в район; вышел на дорогу и ждёт попутку, на перекрёстке как раз, и видит: «козёл» председательский едет. Только хотел поднять руку, а машина молоньёй мимо него; а в ней-то, бабы, и углядел мой дед Наталью со Снегурочкой.

— Вот событие, — съехидничала Тося. — Бабу с ребёнком подвёз.

— Не остановился почему? — загорячилась Хомутиха.

— А куда он ехал, ты знаешь? Он, может, не в район, а в сельсовет спешил, потому и не остановился.

Бабы заспорили, шум всё громче. Из калитки вышел Гаврил — и к ним:

— Ух, как разбирает вас! Опять за своё взялись!

Его слова никто не воспринял, так как Гаврил их сборище в обеде уже разгонял. Но он был настроен решительно:

— Вы доиграетесь со своими разговорами, что потом плакать будете. Или уже забыли про спектакль возле магазина? Хватит молоть попусту...

— «Хватит... Хватит», — копируя его слова, перебила Тося. — Заладил тоже. Что это на тебя сегодня нашло? Сказал бы лучше, в какую сторону они поехали.

Гаврил обложил сидящих крепкими словами со всех четырёх сторон и, видя бесплодность своих усилий, хлопнул калиткой.

Посудили-порядили бабы между собой — и снова тишина в деревне. Ни в праздничную ночь, ни на следующий день, и ещё много дней и ночей подряд разговоры на эту тему не возникали, а если где-то и проскальзывали, ни до Ивана, ни до Маруськи и Натальи они не доходили. Хомутиха же тогда дома получила от Гаврила трёпку, однако всё рассказанное ею было сущей правдой: Кондрашов уже не однажды усаживал Наталью со Снегурочкой в машину и увозил за пятьдесят километров, в соседнюю область, где на берегу небольшого укромного озера проводил с ними свой, как он считал, законный выходной. Конечно, преступно было в горячую летнюю пору уезжать из колхоза на целый день, но на какое-то время чувство критической оценки своих действий и поступков у него притушилось; да к тому

же, готовясь к поездке, он щедро награждал специалистов поручениями и напоминаниями о служебных обязанностях, а по возвращении поздно вечером или рано утром объезжал все поля, чтобы своими глазами видеть сделанное без него.

Как-то на исходе лета, навестив деда Илью, Кондрашов ему признался:

— Знаешь, дед Илья, раньше я за собой ничего странного не замечал, а сейчас как заклинило: что о своих делах, о домашних, да, что о Натальиных — думаю одинаково; как бы и тут семья, и там семья, и дóроги мне одинаково.

Дед Илья слушал Кондрашова, глядя в одну точку, на простенок, где висели в самодельных простеньких рамках его семейные реликвии; потом взгляд перевёл на него. Кондрашов замолчал, и за столом на какое-то время наступила тишина. Первым её нарушил дед Илья:

— Что я могу тебе сказать, мил человек, — голос тихий, и то ли печаль в нём, то ли раздумье о судьбе человека, решившегося в трудную минуту на откровение. — Я сам всё вижу, не слепой. Значит, иначе не можешь... как бы это... словом, жить по-другому, то есть правильно. А кто знает, как для тебя будет правильно? Может, ты правильной жизнью живёшь, а начнёшь ломать её — ничего хорошего не будет. У меня всё проще было: любил я свою Феню, крепко любил, и не уйди она из жизни раньше времени по причине тяжёлой болезни — так бы, думаю,

и радовался с нею рядышком. Выходит, что бог обидел и её, и меня...

Старик вдруг поперхнулся, потом откашлялся и, вытерев ладонью заслезившиеся глаза, продолжил:

— Хотя как сказать. Может, и не обидел. Любовь-то он сохранил во мне: много лет вдовствую, а вот ни одна не привилась. Живу на земле один-одинёшенек: ни детей, ни внуков. Вот она вся моя родня, — и указательный палец старика качнулся в сторону простенка, куда всего минуту назад был направлен его взгляд, — родители да братья-сёстры, которых давно нет на белом свете. Их кровные меня совсем забыли, можно сказать — потеряли. Ну а ты в своей жизни по отношению к людям вроде бы всё делаешь правильно, по-божески: вроде бы...

— Дед Илья, — не сдержался Кондрашов, — ясно-понятно, что у каждого человека должен быть свой стыд, врождённый, здесь, внутри.

При этих словах Иван легко постучал кулаком по груди:

— И глубоко ли он, или на поверхности и только чуть прикрыт одежкой, но в любом случае человек должен с ним сверять свои действия и поступки; а это и будет значить, что он поступает по-божески.

— Согласен. А вот если там, где у человека должен находиться стыд, осталось пустое место, или, может, его там вовсе не было, что тогда?

— Тогда он будет делать всё не по-божески, и по-другому от него не дождёшься. Вот у тебя, дед

Илья, там не пустое место; у меня же, выходит, не всё в порядке, если ты говоришь, что я делаю вроде бы по-божески.

При этом Кондрашов сделал ударение на слове «вроде».

— Если сказал, значит, так и думаю. Давай рассуждать: с народом ты ладишь, помогаешь всем строить жизнь, и это по-христиански, по-божески, значит; что касается Натальи, то — извиняй: не по-христиански это с твоей стороны.

— И почему же?

— Всё потому, уважаемый, что Наталья тебе не жена — это раз; и у вас ребёночек с ней — это два; и с какой стороны ни подойди — всё получается не по-божески.

Кондрашов опешил: не думал и не гадал, что дед Илья будет осуждать его за связь с Натальей. Он с самых первых дней не прятался от старика, доверялся во всех делах, если была нужда в какой-либо помощи ей со стороны; и даже советовался с ним, как лучше сделать, когда задумывали окрестить Алёнку.

Сначала он хотел по-тихому посадить Наталью и Алёнку в машину и уехать в соседний район, где его бывший однокурсник по сельхозинституту Андрей Дёмин также работал председателем колхоза и уже договорился со священником местной церкви совершить этот обряд.

— Нет, — возразил тогда дед Илья, — секрета из этого делать не надо: кто будет тебя осуждать, и

за что? Обычное дело. А чтобы вообще поганых разговоров не было, и люди правильно понимали совершаемое, надо делать это вместе с женой — Маруська, думаю, здесь лишней не будет.

В тот же день у него состоялся разговор и с Маруської; начиная его, сослался на деда:

— Илью сегодня видел — в магазин приходил и ко мне зашёл: ничего выглядит.

— Ещё лучше бы смотрелся, не вдовствуй столько лет, — сразу сделала вывод Маруська.

У неё всегда был свой взгляд на любую проблему, могла охарактеризовать человека со всех четырёх сторон, словно внутри неё сидел независимый эксперт; и при этом взгляд её непременно был добрым, так как жила в ней великая жалость ко всему, что её окружало.

— Чего приходил, нужда какая?

— У него — нет; у Натальи: решила окрестить Снегурочку и говорит, что ты ей когда-то намекала в крёстные пойти.

— Что-то говорила, вспоминаю, но только, кажется, о тебе шёл разговор.

— Крёстная мать тоже нужна.

Тогда они подумали каждый о своём: Иван — что дед Илья ему дал правильный совет; и хорошо, что нарекут Ивана отцом крестным, и Маруська это будет знать; ну а в народе сомневаться не приходится — на каждый роток не накинешь платок.

Маруська думала о трудной судьбе Натальи, её несложившейся жизни, в которой, как ей казалось, Натальиным детям было радости мало. А как Наталье живётся сейчас, Маруська толком не знала. Со слов деревенских, да и муж кое-что рассказывал, её жизнь после Настюшкиной свадьбы особых изменений не претерпела: Снегурочка растёт; Наталья сидеть дома не захотела и пошла работать на ферму. Помог Иван, определил дневным сторожем, и выбирать ей не приходилось, жить-то на что-то надо; а какую ещё работу найдёшь удобную, когда ребёнок на руках? Пойдёт с Алёнкой на ферму утром — и до обеда; потом часа три дома, пока люди доят коров, поят и кормят телят; а там и до вечера недалеко, это когда доярки и телятницы снова появятся на ферме.

— Вань, надо бы доехать к ней, — нарушила молчание Маруська. — Это дело тоже нужное, а у неё тут никого из родни не осталось; один дед Илья выручает.

— По выходным девка приезжает, на каникулах живёт. А так, конечно, проехать надо.

На душе у Ивана легче: как задумал, так вроде бы и получилось.

На другой день они с Маруськой выкроили пару часов и проскочили на посёлок. Потом отрядили ещё один день, чтобы проехать по ранее спланированному маршруту, к другу в соседний район, где бородатенький священник с моложавым лицом и лука-

выми чёрными глазками, похожий на армянина, торжественно объявил их крестными родителями этого удивительного сокровища — Алёны Семёновой, по-личному — Снегурочки.

Так развивались тогда события, а теперь дед Илья его обвиняет.

— Не-е-ет, диду, — протяжно возразил Кондрашов. — Что мы сделали плохого людям, обществу, наконец? Да, мы любим; вначале стыдились своих чувств, но ведь жестоко было бы поступить по-другому, не пойти навстречу друг другу; и скорее всего именно так было бы не по-божески.

— Может, так, а может, и не так, — сделал тогда вывод дед Илья.

Уже позднее, вспоминая слова, сказанные стариком, Кондрашов пришёл к мысли, что в них была истина; лежала она на поверхности и, конечно же, имела прямое отношение к их украденной любви, о чём дед Илья говорить не захотел, очевидно, чтобы его не обидеть.

У Кондрашова продолжать им же начатый разговор тогда времени не было, торопился в поле. Шла уборка зерновых, следом навалились другие работы. С клеверами управились — в погоду скосили и уложили в скирды, но оставалось закончить с однолетними, которые переставали; не за горами сев озимых, и надо готовить почву; кукуруза зажелтела метёлками, рослая, с тёмно-зелёной листвой и крупными початками, а это значит: пришла пора наби-

вать силосные траншеи; в работе комбайны, так что ждала своей очереди солома — убрать с поля и также в скирды по погоде; ведь в прошлом всякое бывало: случалось даже, что до половодья пустели силосные траншеи, истаивал последний скирдок сена, и тогда вырубала соломка, особо если травянистая. Но в этом году с кормами должно получиться, тем более удалась на славу вико-овсяная смесь, которая занимала сто пятьдесят гектаров.

На это поле он бросил все силы, рассчитывая справиться с ним по жаркой и сухой погоде; на клеверах такой расчёт оправдался, а здесь маленько не получилось. Поручив агроному не отходить от комбайнов, Кондрашов решил приглядывать за скирдовкой сена сам. Работа шла не без сложностей: техника выходила из строя — то косилки, то ворошилки, то стогометатели или копнителы, и приходилось в пожарном порядке мчаться в мастерские, копаться в поисках нужной запчасты на пыльных полках, по тёмным складским углам в соседних колхозах. К исходу дня, присев возле скирда, подводили итоги, обговаривали, что и как будут делать завтра. Шум работающих рядом стогометателей, подъезжающих и отъезжающих автомашин, грохот тракторных тележек и человеческие голоса им не мешали; все эти звуки вместе с запахами высохшего сена, с массой неотложных забот сливались в один бесконечный день, в котором не оставалось места на сугубо личное, потому что было

ещё немало вопросов, которые приходилось ему решать как председателю колхоза. Но Кондрашова это не огорчало; главное — работа спорилась: за день скашивали более пятнадцати гектаров, на другой день, с утра, там уже бегали трактора с граблями, на третий — ворошили и копнили. А когда поплыли копны с поля и приступили к работе стогометатели, люди стали видеть конечные результаты своего труда: что ни день — вдоль просёлка в ряд пристраивался скирд, ладный, как брат-близнец из многодетной семьи.

В течение недели убрали сто тридцать гектаров. Оставалось работы ещё на один день, но перед обедом погода неожиданно испортилась: над полем, где властвовал суховей, за какие-то полчаса потемнело, потом загремело, и на горячую землю, на ряды и копны высохшего сена, на дышащую жаром технику и на людей обрушились потоки воды. Поле опустело на три дня.

Вот когда Кондрашов огорчился: надо же, не успели — остался неубранным угол поля, около двадцати гектаров. Дожди прошли, землю обсушило, и надо было сено в рядах ворошить, намокшие копны разбрасывать, потом снова ворошить и копнить. Промочило и незавершённый скирд, так что и он прибавил забот. Только справились со всем этим — дожди вернулись, и снова всё повторилось; но это было сено уже не то, каким его укладывали по погоде, а чёрное, утратившее свежесть и аромат.

Дожди приносили людям долгожданный отдых; но Кондрашов, оторванный в погожие сенокосные дни от других важных дел, которые отставлял на потом, и в ненастье работал в напряжённом режиме, стараясь наверстать упущенное: так же рано уезжал из дома, в обеде Маруська его не видела, лишь только вечером появлялся раньше обычного, за час-другой до сумерек.

2

Была суббота. Второй день висели над просёлками низкие серые тучи, и сеял, сеял надоедливый мелкий дождь. «Не по-божески, — посмотрев утром на небо, вспомнил Кондрашов слова деда Ильи, — совсем не по-божески: одного дня не хватило, чтобы закончить с сеном, а теперь этот клочок держит и людей, и технику».

Но жизнь не стояла на месте, она торопила, и, чтобы не отстать от неё, надо было самому не сидеть сложа руки, а делать дела. Утренние организационные вопросы он порешил быстро; затем собрал в кабинете всех отраслевых специалистов, и в течение не одного часа они вели подробный разговор о надоях и привесах, сколько убрано и не убрано, и почему мало вспахано — словом, по всем строчкам статотчётности, которые передавали в район ежедневно. Вывод сделал неутешительный: появились проблемы с приобретением запчастей, запасы дизельного

топлива невелики, а свободных денег на банковском счете практически не осталось. Кто их даст и на каких условиях, он ещё не знал, но что искать их будет — знал точно.

Где на первых порах найти денег, подсказал Лылов. Многое из того, что говорил и делал агроном, казалось, не вписывалось в рамки поведения обычного человека: неординарно мыслящий, порой удивлявший своими взглядами, чаще всего критическими, на ту или иную проблему в масштабах государства, он между тем дела вершил в своей отрасли спокойно и уверенно; а вот критики в свою сторону не позволял, также спокойно и уверенно отметал её убедительными фактами, доказывающими его правоту. Лылов ушёл из кабинета последним, и брошенное им зерно в сознании Кондрашова начинало прорастать. Но до конца обдумать эту мысль не удалось — после стука в дверь вошёл Олег Борисыч; серенькая промокшая фуражка, длиннополая брезентовая накидка и высокие резиновые сапоги делали его похожим на пастуха.

— Дай, думаю, зайду, — сняв фуражку и поздоровавшись, зачастил он. — Сколько ни заходил по погоде — в разъезде, говорят. Теперь вот непогода тебя к берегу и прибила.

— Не меня одного, — невесело уточнил Кондрашов, — люди сидят, машины стоят: не пашем, не сеем, не скирдуюем.

— Природу не обманешь, — с видом знатока заметил Олег Борисыч.

Кондрашову стало интересно: а что думает учитель о дождях? Как понимает эти природные явления в череде событий? И тут же вспомнил их давний разговор, здесь же, в кабинете, когда однажды зимой Олег Борисыч вот так же пришёл к нему и с интересом посвящал в тайны природы. Спрашивать не пришлось: он только подумал, а учитель уже заговорил:

— Природа, Иван Дмитрич, идёт своей дорогой, по своим верстовым столбам. Поясню: лето перешагнуло знойный возраст; сегодня первое августа, то есть август-разносол пришёл. В старину говорили, что в августе всего в запасе: и дожди, и ведро, и серопогодьё, но это относится ко всему августу, а он только начался; и, выходит, завтра, уважаемый Иван Дмитрич, по народному календарю, да и по церковному тоже, великий праздник Ильин день.

— И что, что Ильин день? — улыбнулся Кондрашов, — Даёт людям время отдыхать, водку пить? Не по-божески.

Он опять вспомнил деда Илью.

— Э-э-э, — погрозил пальцем Олег Борисыч, — не по-божески? Наоборот, Илью-пророка относят к самым почитаемым святым, как, скажем, Николая Угодника: в народном понятии он святой грозный, карающий и одновременно щедрый.

— В чём же проявляется его щедрость? В дожде?

— Дождь — это плодородие. Илья-пророк есть распределитель... нет, он распорядитель самых страшных и благодетельных сил природы.

— Если дождь — это божия благодать, тогда что есть кара?

— Молния, например: наслёт на нас — весь урожай подчистую сгорит, деревню спалит. Так и звали его в старину — громобоем.

Кондрашов начинал удивляться знаниям этого человека; но тут же память увела его в далёкое прошлое, когда Олег Борисыч на уроках литературы много чего рассказывал, а им было также интересно слушать.

— Да, я всегда говорю, что предки наши не дураки были. Представь себе картину: одного мужика, такого, как Кулачок, спрашивают: мол, что это за Илья-пророк и что он делает? Ты как бы ответил на такой вопрос?

Кондрашов пожал плечами.

— А-а-а! А вот что ответил мужик: «Илья, — говорит, — развозит по небу воду для святых и, если расплескает малость, на земле дождь идёт». Тогда мужика спрашивают, почему зимой совсем по-другому в природе: дождя нет, грозы нет? Тот почесал затылок, посмотрел на небо и говорит: «На что им зимой вода, святые зимой сидят без воды».

И Олег Борисыч смеётся, довольный своим рассказом.

— Не по-божески, — смеётся, но не соглашается Кондрашов. — Вот мужик сказал, что, мол, расплескает малость Илья-пророк, и тогда дождь на земле идёт. Чем он там воду носит: вёдрами худыми или решетом? Вот я на днях заехал на посёлок, к деду Илье, и смотрю: он воду несёт из родника; тропинка узкая, да в гору ещё, а он с двумя вёдрами; и ни капли на землю.

— Иван Дмитрич, Иван Дмитрич... — в словах учителя укор. — Это же в народном воображении.

— Да я понимаю, Олег Борисыч, что ты всё это не придумал.

— Нет, конечно; и могу сказать, откуда взял: в библиотеке; среди старых журналов, которые списали и хотели сдать в макулатуру, попалась никому ни разу не востребованная брошюрка — народный календарь. Редкая вещь, а вот в руки никто не взял, мне тоже не попадалась на глаза; теперь моя: выпросил.

Кондрашову стало неудобно: хотел вроде бы как пошутить, а Олег Борисыч воспринял его слова за насмешку; и он решил увести разговор в другую сторону:

— Да, в старину крестьянин жил по своему прогнозу, а мы ждём, когда Москва нам скажет, будет дождь или нет.

— Ценную науку в земледелии утратили, — согласился учитель, — потому и многие колхозы сегодня бедствуют.

— С общественными хозяйствами ясно, какие у них беды и откуда: вот сегодня полдня судили-рядили, где взять денег на запчасти и горючее — касса-то пустая, а своей чеканки нет. Всё дорожает, но только не зерно, не мясо и молоко, и нам вбивают в голову, что рынок цены отрегулирует сам. Где он, тот регулятор, если каждый год крестьянин в убытке: то много зерна, но осталось невостребованным; то мало зерна, но перекупщик цену не поднимает и ждёт, когда крестьянин из-за нужды за дешёво отдаст. Ту науку утратили, а новую, выходит, не освоили? И не освоим, пока вошь за голову не укусит и государство не проявит интерес, так как эта проблема уже в масштабах государства и касается не только общественных хозяйств. Сегодня пусть никто не говорит мне, что это не так, — и, как бы пресекая любую попытку оспорить его мнение, резко добавил. — Никто.

Олег Борисыч молчал, очевидно, или осмысливал услышанное, или же попросту не хотел с хозяином кабинета спорить, потому что это не входило в планы его визита.

— Ну вот скажи мне, как процветает сегодня твоё личное подсобное хозяйство? — спросил его Кондрашов, прикидывая, что могло заставить учителя идти к нему по такой погоде.

— Моё-то? — переспросил Олег Борисыч, обрадовавшись, что вопрос, из-за которого пришлось ему сегодня мокнуть, всплыл на поверхность сам собой. —

Моё личное, как и ваше общественное, кстати, живёт такой же заботой: сенокос прошёл, а в зубах поковырять — ни соломинки, ни травинки.

— Это как сказать, — не согласился Кондрашов, — мы для себя вроде бы сенца приготовили — и клеверного, и вички.

— Так и должно быть, — как похвалил Олег Борисыч. — Раньше говорили: до Ильина дня в сене пуд мёду, после Ильина дня — пуд навозу. А у меня ни мёда, ни навоза, и корову кормить нечем: косить-то я староват стал.

Для Кондрашова это не новость: Немыткин был не один, кто сам не смог заготовить сена для своей коровы из-за подступившей старческой беспомощности. С надеждой смотрели на колхозное поле и механизаторы, которые с утра до ночи не вылезали из кабины трактора и потому не имели времени позоревать с косой на неудобьях — по балкам и оврагам, по обочинам дорог да вдоль ручьёв, куда не доходили колхозные стада.

— Не волнуйся, — успокоил его Кондрашов, — всё будет по-божески.

И тут же, поймав себя на мысли, что после разговора с дедом Ильёй он часто употребляет слово «по-божески», поправился:

— Всё сделаю по порядку: берегу на дальнем поле вико-овсяной смеси — хватит на всех. Дожди пройдут — скосим, разделим на заработанный рубль; а кто в колхозе не работает — учителям, пенсионе-

рам и прочим дадим на корову; ещё соломки привезёте, выберете потравянистей, яровой или гречишной.

— Это уже дело, — удовлетворённо сказал Олег Борисыч. — А то на днях в магазин зашёл — народ беспокоится.

— Скажи всему народу: без сена не будут; и ничего, что перестоялая.

На столе зазвонил телефон; понимая, что главный свой вопрос вроде бы прояснил, что теперь он может быть лишним, Олег Борисыч встал:

— За разговор, Иван Дмитрич, спасибо. Мешать теперь не буду, пойду.

И осторожно закрыл за собой дверь.

Кондрашов поднял трубку и услышал в ней голос сына, от которого уже давно не было вестей:

— Да, Серёж... да-да. Ты где пропал?

Сергей, как и дочери, родителей не обременял: закончил железнодорожный техникум и уехал по направлению работать в Москву, где определили его помощником машиниста электропоезда. Как складывалась жизнь вдали от родного дома, рассказывал мало, но для Ивана с Маруськой достаточно было знать, что сын жив-здоров и самостоятельности не утратил. Армия не дала ему долго работать: там же, в Москве, Сергею вручили повестку, и туда же, на прежнее место работы, возвратился после службы; это было весной. К родителям приехал тогда всего на одну неделю, как сказал, повидаться с ними, посмотреть на деревенскую жизнь, на родные места.

Мать уговаривала, когда засобирился уезжать: мол, пожил хотя бы месяцок, отдохнул, на что Сергей только улыбнулся: «Мать, я в армии не надорвался, мне она была не в тягость; я даже хотел остаться там». И вот откликнулся:

— Не пропал я. Еду домой, а звоню уже из Орла. Может, встретишь с электрички, чтобы мне грязь не месить и не мокнуть.

- Конечно. Это во сколько?
- Шестичасовой электричкой.
- Где выходить будешь?
- Давай на разъезде.
- Давай.
- Тогда всё...

И в трубке послышались короткие гудки.

Разъездом в народе называли останочный пункт на 452-м километре Московской железной дороги; как полагал Кондрашов, название это пришло из тех далёких времён, когда сначала проложена была только одна колея, и для бесперебойного движения по ней на Москву и от Москвы один из встречных поездов здесь загоняли на запасной путь, чтобы можно было разъехаться. Станции как таковой здесь не построили, но запасной путь был, поезда делали остановку среди голого поля, и народу от этого не было хуже. «Таких останочных пунктов по стране ого сколько, и построить какой-либо вокзалишко у государства денег всегда не хватало, — подумал Кондрашов.

— А вообще, надо спросить у Немыткина: учитель

наверняка знает что-нибудь о железной дороге, не только же погода и приметы старины его интересуют».

И ещё стал размышлять, что деревне его крупно повезло: железная дорога охватывала её с трёх сторон, и в какую ни пойдёшь — за час по хорошей погоде будешь у поезда. А отец, прошагавший по дорогам войны тысячи километров, однажды ему сказал: «Солдатский шаг: десять минут — километр»; потом уже сам в этом убедился. Железная магистраль, уходя от истока Неручи и торфяных болот, делала крутой поворот, изгибалась подковой, и деревенским из центра этой подковы, отправляясь в дальнюю дорогу, оставалось только выбрать себе, в какую сторону просёлок будет поприличней, да чтобы не навстречу ветер.

Больше века слушает деревня с трёх сторон гудки и шум поездов, столько же ходят и ездят туда и оттуда люди, только теперь на дорогах пешеходы стали большой редкостью. В начале восьмидесятых до райцентра построили бетонку, и так же в обход торфяников. Дорога от деревни уходила в сторону разъезда, потом круто поворачивала направо и устремлялась к райцентру вдоль «железки», почему и получилась туда вдвое длиннее прямоезжей грунтовой, которую стали забывать и пешеходы, и машины. Бетонка есть бетонка: когда сухо — не пыльно, а зайдёт ненастье — не забуксуешь, у пешехода не намокнет обувь. И люди, которые без личного транспорта, в любую погоду выбирали её — в надежде,

что попутка подхватит. Случалось, шёл и шёл человек, а ни одной машины; или промчится мимо — только гарью обдаст да горячим ветром; и всё это усталостью и болью оседало на душе после двухчасового пути. Иной пешеход рассерчает из-за этого и ну ломать дорожные знаки.

«На разъезде, так на разъезде», — и Кондрашов посмотрел на часы: у него ещё оставалось достаточно времени, чтобы закончить с бумагами, пообедать и проехать на заречные луга, где паслось дойное стадо.

3

— Снегурочка-а-а! Доча-а-а!

Наталья стоит возле дома; она ещё и ещё раз громко кричит в дремотную тишину июньского полдня, и голос её слышит вся округа — он полон жизненных сил, в нём радость вешних дней, тепло светозарного июня и ласковость бабьего лета.

— Снегурочка-а-а! — плывёт над мелководным истоком Неручи, где бьёт бесчисленное множество прозрачных ключей, где в густых зарослях ивняка с незапамятных времён наперебой поют, квакают и крикают, где кипит жизнь.

Конечно, дорогой читатель, ты уже знаешь, что это Савельева Наталья зовёт домой свою маленькую дочь, которую подарила им несколько лет назад сама природа, запеленав её в белые снега вьюжной ночи и убаюкав колыбельной суматошного ветра.

— А-а-а! — слабым эхом доносится из-под горы, где среди яркого многоцветья плавают сочные запахи вызревших ягод.

Наталья на минуту замирает: Господи, сколько раз за последние годы вот так же выходила она за калитку и ловила в тишине прихлынувших дней пропахшее ягодой эхо, и каждый раз не могла смотреть на дочь без улыбки: настоящий цветик-самоцветик! Всё те же две короткие косички в разные стороны, цветастое платьице, такое же яркое, сливающееся с многоцветьем откосов; а ещё среди всего этого многоцветья, где маленький человек сливался с природой, мерцали два малюсеньких озерца синих-синих глаз. В свете проходящих дней это невинное создание земли и неба несло с собой радость бытия не только родной матери, а и каждому, кто хоть однажды, пусть даже издали, смотрел на неё.

Поласковой солнце — и веселее у Натальи на душе; солнечным светом её согревала теперь надежда, что новые дни принесут только хорошее — и ей, и её детям. Ведь сколько трудностей уже позади, сколько слёз пролила, пока не наступили эти дни, похожие на божье благословение. А как иначе понимать, если у Настюшки жизнь вроде бы складывается: со сложностями, но судьбу свою выбрала, и теперь для неё всё ясно, будущее просматривается. Павлик оказался хорошим мужем, и хозяин не безрукий: в доме, а живут они в частном доме, на окраине города, сам всё обустроил так, что смотреть любо-

дорого и, самое главное, жить удобно. Не раз после свадьбы побывала у них, в прошлом году даже пожила чуток со Снегурочкой.

Ах, эта Снегурочка! Кажется, с каждым днём она взрослеет и даже рассуждает совсем по-взрослому. Вот буквально вчера всё ходила, ходила вокруг да около, что-то мурлыкала себе под нос, потом вдруг спрашивает:

— Мам, ладно я возьму твою помаду?

Ну как отказать ребёнку — возьми. Взяла, ещё походила, покрутилась вокруг да около и снова с таким же безотказным вопросом, после чего ещё одна помада перекочевала в её сумочку. Наталья не понимала намерений дочери, и когда Алёнка обратилась с такой же просьбой в очередной раз, она решила это прояснить:

— Дочь, ты у меня почти всю помаду забрала. На что она тебе, ведь ты ещё маленькая.

— Я уже взрослая, — не задержалась с ответом Алёнка, — и мне пора краситься.

Вот такие заявления; и если дальше так пойдёт — переплюнет свою мать: замуж выскочит до шестнадцати.

Лариса после Настюшкиной свадьбы стала приезжать домой чаще: не только во время каникул, но и в выходные дни радовала мать своим присутствием. А уж с Алёнкой сдружились — не разлить водой! Ни минуты друг без друга не могут: вместе идут за водой, вместе за столом — завтраками да обедами

мать угощают; то игру какую затеют, что от смеха и шума хоть уши затыкай, а вечером раскладывают диван и о чём-то по-тихому воркуют, пока Алёнкины глаза не закроются. Ну как не радоваться ей после всех тревог, тем более что у Ларисы с учёбой дела клеятся. Последний годок учится, потом госэкзамены, и станет она учительницей с высшим образованием. Говорит, что будет проситься работать в своей школе, значит, и Алёнку будет учить. И хорошо. Не зря всё-таки просиживала днями-ночами над книжками, одна за всех нас старается. «Вот и молодец, — одобрительно думает Наталья, — пусть доучивается. Конечно, ей трудно, и деньжатами мать обижает; а что делать, если у матери жизнь сложилась незавидная какая-то».

Так думает Наталья, и от думок таких не избавиться; а если и отстанут они, эти злые думки её, то совсем не потому, что в груди всё перегорело и там уже не сердце, а горстка горячего шлака: просто накатится в такие минуты горячая волна гордости за свою дочь, которая в жизни всё делает правильно, и обласканное сердце забьётся ровнее, и прибавится света вокруг. А уж светлым-светло становится, когда она с Иваном рядом.

Время не стояло на месте, оно как бы убыстряло свой бег с каждым прожитым днём, и если во всём — и в людях, и в природе — происходили какие-то изменения, её Иван оставался таким же: милым, добрым, внимательным. Много ещё слов вме-

щалось в её горячем сердце, и все их Наталья не держала под спудом, когда он приезжал.

Иногда он усаживал её с Алёнкой в машину и увозил подальше от колхоза, в другой район. Наталье были желанны такие поездки: ей хотелось побыть с Иваном подальше от деревенских глаз, постоянно преследующих, выискивающих что угодно для очередной сплетни. Уехав туда, где их никто не видел, а если и видел, то не знал, кто они и откуда, Наталья была счастлива и в этот день, и позднее, когда день уходил всё дальше и дальше в прошлое, потому что оставались воспоминания, согревающие сердце до следующей поездки.

И вот уже в погожих днях отаукался над откосами пропахший солнцем и ягодой июнь — макушка лета; перестоялым травам ронять теперь на землю свои яркие краски, но прибрежные луга, умытые ночными тяжёлыми росами, ещё долго не утратят своей прелести: они будут звать к себе и радовать душу человеческую и глаз первозданной своей красотой.

— Снегурочка-а-а! — аукнуло и смолкло безответно над откосами.

— Снегурочка-а-а! — аукнуло над откосами снова.

— А-а-а! — откликнулось эхо, но уже не ягодой пропахшее, а зрелой вишней и яблоками, с мятой вперемешку.

— Ах ты, цветик-семицветик!

Теперь Наталья редко берёт на руки свою повзрослевшую дочь. Они идут к дому рядом и, как взрослые люди, ведут разговор о том, что Алёнка стала большой и первого сентября пойдёт в первый класс; что скоро приедет её крёстный отец, и вместе с ним они отправятся покупать всё необходимое для школы.

4

За белесыми занавесками дождя железнодорожная лесозащитная полоса (этот незыблемый памятник сталинскому преобразованию природы) выглядела издали сплошной серо-зелёной полосой; а когда машина свернула с асфальта, нырнула через кювет и въехала в неё по неглубокой колее, устланной листьями и мелкими обломанными ветками, Кондрашов увидел сиротливые деревья, исхлётанные водой и ветром до такой степени, что смотреть на них без жалости было нельзя. Узенькая просека, ведущая к перрону, напоминала тоннель с мрачными тёмно-зелёными стенами, с физическим ощущением избытка сырости и недостатка света. Да и сам перрон выглядел не привлекательнее: те же обломанные мелкие ветки, принесённые туда шквальным ветром; груды битого кирпича напоминали о небольшом служебном помещении с пристроенным навесом, стоящем здесь десятилетия, а в прошлом году по воле железнодорожного начальства оставшемся без кассира и разрушенном жителями близлежащих деревень.

Время поубавило пассажиров в этом краю — деревни вымирали, и перрон зарос травой, оставив для людей узенькую, как ниточка, тропинку; на дальнем её конце в ожидании электрички мокли два рыбака в плащ-палатках с капюшонами; за плечами рюкзаки, в руках удочки.

Кондрашову долго ждать не пришлось: выскочив из-за поворота, электричка свистнула и резко затормозила. Через открывшиеся двери было слышно, как объявили остановку; из вагонов на низкий перрон прыгнули несколько человек, по порожкам вскарабкались рыбаки, и двери с шипеньем снова закрылись; электричка ещё раз свистнула, дёрнулась и с визгом умчалась. От перрона к машине бежал Сергей — в одной руке сумка, другой рукой придерживал на голове уже намокшую газету; а следом за ним спешила, спрятавшись под пёстрый зонтик, Лариса, Натальина старшая дочь.

Кондрашов пошёл по дождю навстречу.

— Ну здравствуй, сын, — сказал он и крепко пожал ему руку.

— Здравствуйте, Иван Дмитрич, — поздоровалась Лариса. — Подвезёте меня?

И вдруг неожиданно рассмеялась:

— Хотя уже знаю, что не откажете.

Сергей быстро открыл заднюю дверцу, и в считанные секунды они уже сидели в машине.

Лариса была по-детски счастлива: в такую поганенькую погоду ей просто повезло — не пришлось

нанимать от станции такси, что для неё как для студентки, только-только получившей диплом о высшем педагогическом образовании, было бы довольно дорого; но и пешком не пойдёшь — от такого дождя зонтик не спасение.

— Ну как я тебя не подвезу, девушка, — так же весело ответил ей Кондрашов, — поздороваться не забыла, и к тому же теперь ты мне всё-таки родней приходишься: мы с твоей матерью покумились, и я теперь Аленкин крёстный.

— Тогда до самого дома должны доставить, — продолжала радоваться Лариса. — Я же, Иван Дмитрич, садилась в поезд — дождя не было, и собиралась выйти на станции. Гляжу на посадке: заходит в вагон и рядом со мной — плюх, сел, значит, Серёжка. Сначала он меня не узнал. Потом разговорились и удивились: из одного колхоза, в одной школе учились, а вроде как не знаем друг друга. Он меня и уговорил: поехали, говорит, со мной до разъезда, там отец встречать будет.

И, уже обращаясь к Сергею, добавила:

— Спасибо, Серёж, ты доброе дело для меня сделал, век не забуду.

И снова засмеялась.

— Да ты только сейчас говоришь, а завтра забудешь и не вспомнишь, — шутливо возразил Сергей.

— Не забуду, Серёж, не-за-бу-ду, — выговорила по слогам Лариса. — Это у тебя память плохая: забыл же, кто я такая.

— Ничего удивительного, — заметил Кондрашов. — Просто дороги ваши рано разошлись: Лариса — в среднюю школу, а Серёжка — в Орёл, в железнодорожный техникум, потом в Москву, потом в армию. И ещё: когда приезжала к матери, ты из своей поселковой глуши редко выбиралась, так что дороги ваши за эти годы не пересекались.

— Я чуть-чуть помнил, — признался Сергей. — Лицо знакомое, а вот кто она, чья — нет.

— Теперь будет помнить, — заступился за сына Кондрашов. — Глянь, какая девка — ладная да весёлая.

— Не, Иван Дмитрич, я суровая. Это Настюшка у нас как колокольчик, всё хи-хи да ха-ха. У меня сейчас душа поёт от радости, что не пешком до дома.

Весело разговаривая, они снова миновали кювет, и машина зашуршала колёсами по мокрому асфальту. Через несколько километров Кондрашов свернул на просёлочок; пышущий жаром «уазик» на скользкой дороге завиял, разбрасывая по сторонам липкую грязь, но к Натальиному дому они подъехали без происшествий и не со стороны фермы, а с противоположной — от лесополосы, протянувшейся через поля от торфяных болот.

— Очумела девка, — всплеснула руками Наталья, увидев на пороге Ларису. — Да кто же в такую погоду ездит, все по домам сидят.

— Мы, — доложилъ Кондрашов, переступив порог вслед за Ларисой.

— И мы, — позади него нарисовалась русая голова Сергея.

— Я говорила, что придет! — вихрем подлетев к Ларисе, закричала Алёнка. — Говорила, говорила!

Лариса наклонилась, обняла её, не забыв при этом поцеловать. Кондрашовы продолжали топтаться у двери.

— Что остановились, проходите. — Наталья рада: голос весёлый, на лице румянец. — К столу, к столу сразу — магарыч буду ставить.

Через несколько минут на столе уже было тесно от посуды, но рюмки прозвенели в руках только у Ивана и Натальи: Сергей и Лариса с Алёнкой уединились в другой комнате, сославшись на то, что вино не пьют и не проголодались.

— Где ты её нашёл? — тихо спросила Наталья.

— На разъезде, — в тон ей ответил Кондрашов. — Вместе с Серёжкой приехала. А он из Орла мне позвонил, что едет.

— Если бы не она — не приехал?

— Не угадала: собирался.

Кондрашов хотел было передать Наталье весь свой разговор, который состоялся у него с Ильёй, но неожиданно передумал: зачем он ей, меньше всякой чуши будет лезть в голову.

Конечно, в словах старика был заложен глубокий смысл, а он определённые выводы для себя сделал и решил, что самое время их выложить.

— Я вот всё думаю о наших с тобой отношениях — они у нас какие-то непрочные: р-раз — и разорваться могут. А хочется, чтобы покрепче были, прочными. Люди до нас придумали, как их скреплять: вот в ЗАГСе расписывают и штамп в паспорте ставят — такая отметка есть у тебя, и у меня есть, но, как сама понимаешь, они в прошлом и не для нас.

— Для кого же тогда они ставились? — спросила Наталья и, не ожидая, что он скажет, сама же ответила на свой вопрос: — Для нас, милый, для нас.

— Я говорю только о тебе и о себе, о наших отношениях. В жизни так не прочно всё, и что будет завтра, послезавтра или через год — никто сказать не может.

Наталья не понимала, к чему он клонит, а Кондрашов продолжал:

— Я придумал: давай мы с тобой обвенчаемся, и это будет наш вечный брачный союз: даже после смерти будем вместе.

Теперь Наталья молчала, но что говорил Иван, для её сердца было сладкой музыкой; его слова вливались в сознание тёплой волной счастья, потому что она также боялась потерять своего любимого; она хотела быть с ним рядом и сегодня, и завтра, всегда; она не представляла, как станет жить дальше, если вдруг в один из дней узнает, что её Ивана больше не будет рядом. Потом тихо спросила:

- Ты твёрдо решил?
- Да.

— И как всё это представляешь?

— Ещё не знаю, но об этом уже думаю. По всему надо съездить к другу снова и попросить договориться с батюшкой, чтобы он совершил этот обряд, как и с Алёнкой. Надежду не теряю, что получится.

Наталья ещё помолчала, обдумывая предложение любимого человека; она утверждалась во мнении, что у них с Иваном именно так и должно быть — прочно, неразрывно, и чтобы бестревожными были её дни, и не болела бы душа за благополучие их украденной любви; заговорила так же тихо:

— Вань, скажу откровенно: я сама тоже приблизительно так думала, но как сделать — не придумала ничего. Хотя связка прочная у нас есть: Алёнка наша. Я всегда боялась и боюсь тебя потерять, и не только потому, что ты Алёнкин отец: я не представляю жизни без тебя.

Наталья взяла со стола бутылку и наполнила Иванову рюмку, плеснула малость в свою:

— Делай, Вань; как получится — видно будет. И давай ещё по капельке, за нас с тобой.

Она медленно выпила свой глоток, наколола вилкой разрезанный помидор и вдруг закашляла, на глазах появились слёзы. Наталья хотела их вытереть ладонью, но они из-под руки по щекам сбежали вниз, уместившись в два маленьких ручья, — это были слёзы счастья, и Кондрашов увидел, как они вымывали из глаз любимой женщины васильковую синь.

5

Обильные дожди вдоволь нагулялись над поймами Неручи; напоследок отхлестав кучерявые лозняки и присмирившие деревни, разбросанные по прибрежным буграм, пообломав по прогонам старые ракиты, они свалились за горизонт — так же неожиданно, как и пришли. Но над поймами ещё буйствовал ветер. Вокруг шумело, хлопало, хлюпало; воздух был наполнен густыми запахами воды, полыни, запревающего сена, ещё какими-то незнакомыми, знакомыми, но забытыми запахами, а невидимые потоки света уже овладевали пространством, зависая над холмами, опускаясь по склонам до самых низин и насквозь пронизывая открывшиеся дали. И снова над Неручью светло и тихо; солнце плавится в лужах, слепит глаза; распрямились, расправили набухшую зелень злаки, и по всей деревне, из конца в конец, весёлая петушина перекличка.

Здравствуй, новый день, неутомимый труженик, зовущий на новые дела, которых у людей в это время года непочатый край! Потянет горячий ветер над полями, обдует их, просушит — и снова там зашумят машины, только и гляди, чтобы в погоне за заработком не случилось плохого: ребята лихие, а ведь техника есть техника и требует к себе осторожного обращения. У Кондрашова на памяти не один случай, когда человек, работая в поле, по дури своей мог остаться без пальца или сломать руку; или по

его вине загорался комбайн, и все мчались на помощь, рискуя уже своими жизнями. В общем, всяко бывало на этих холмистых полях, но что хорошо — смерть обходила людей стороной. В позапрошлом году не обошла, но это был особый случай, и на том самом поле, где годом ранее капризная погода показала норы свой во время сенокоса.

Уборочная страда чадила пылью и пóтом — стояли сухие и знойные дни. Комбайны с раннего утра до ночи гудели на этом поле, пропуская через грохочущую утробу густые валки озимой пшеницы; люди задыхались от жары и пыли. На обмолоте зерновых людей кормили в поле, причём бесплатно. И когда на загонке, перед комбайнами, остановилась знакомая машина, всегда привозившая обед, и Петровна, уже немолодая, бойкая на язык повариха, помахала из кузова белым полотенцем, комбайнеры покинули технику и весёлой ватагой сбились возле заднего борта, с теневой стороны.

— Подходи! — скомандовала Петровна, и комбайнеры не заставили себя упрашивать — получили из её рук чашки с наваристыми щами и хлеб.

— Подходи смелей! — прозвучала новая команда, и снова застучали ложки в алюминиевых чашках, наполненных гречневой кашей с телятиной.

— Не отставать! — торопила повариха. — А то мне ещё пахарей кормить.

Запивали компотом из сушеных яблок, и процедура эта много времени не заняла. Петровна быстро

собрала посуду и умчалась по просёлку дальше, а комбайнеры остались сидеть, открытые для солнца, — неспешно делились впечатлениями от работы, выкладывали последние новости, услышанные ими на машинном дворе ещё утром.

— Что-то мне на солнце не особо, — закрутил головой Николай Юрин, крепкий на вид, кряжистый, как дубок, но уже в годах. Он постоянно работал на тракторе, но с началом уборки зерновых его всегда пересаживали на комбайн, учитывая его механизаторский опыт, великолепное знание техники. Юрин всегда оправдывал хорошее мнение о себе, что прибавляло ему авторитета.

— Приморило Герасимыча после обеда, видать, дорогуша ночью спать не дала, — пошутил кто-то над ним.

— Переел маненько, — возразили ему.

— Не, ребятки, это он после вчерашнего бодуна, наверно, никак не отойдёт.

— Доживёшь до моих лет, тогда будешь говорить по-другому, — незлобно огрызнулся Юрин. — Пойду в тенёк — может, полегчает.

И прилёг на соломе возле копнителя ближайшего комбайна.

Комбайнеры посидели ещё; некурящие подождали, пока «курилки» вытянут по сигарете, и стали расходиться.

— Герасимыч, поехали, — окликнул своего старшего помощник.

Юрин не отозвался.

— Герасимыч, разбежались.

Тот же результат. Подойдя к нему, помощник увидел, как небритое, запалённое лицо комбайнера стремительно чернеет...

Кондрашов примчался на поле сразу, лишь только ему сообщили о случившемся. Приехавшие на «скорой помощи» врачи зафиксировали смерть, участковый милиционер с лейтенантскими погонами составил протокол и распорядился, чтобы труп отправили в областной центр на экспертизу, а Кондрашов тут же занарядил машину, в кузов которой набросали соломы, застелили её брезентом. И сегодня Юрин у него перед глазами — такой, каким лежал тогда в кузове перед отправкой в морг: рубашка в клеточку наполовину расстёгнута; непонятно какого цвета замасленный пиджак и ещё не успевшие постареть брюки, которые, однако, уже утратили нормальный вид из-за небольшой заплатки ниже правого колена; крупные узловатые руки — с пальцами, похожими на обрубленные корни старого дерева; крупное лицо, уже почерневшее. И не мог тогда понять Кондрашов: то ли само лицо так почернело, то ли черноту придавала ему щетина, с которой Герасимыч в последние свои дни расстаться не сумел. И ещё подумал: «Вот и кончилась его жизнь. Жил, жил, всё работал; хотел хорошо жить, а никак у него это не получалось: домишко неважный, сам весь в долгах, хотя и зарплату вроде бы неплохую получал и при-

носил домой, не пропивал, как некоторые; всё детей поднимал — их у него четверо. В следующем году собирались ему дом построить за счёт колхоза.

А что «некоторые»? Глядишь: вроде работает, сам не сказать чтобы грязнуля — со стрижкой, и побрит, а вот запивает, и тогда работник из него совсем никудышный. И, выходит, прав был Герасимыч, когда вместо сердитых слов при выяснении отношений с каким-либо чудаком из разряда своих обидчиков обходился только любимой поговоркой: «Разные мы с тобой люди», — скажет, как осудит, а потом отвернётся от него. Всё верно: если исходить из законов природы, то у жизни с её заботами есть два полюса — положительный и отрицательный; у Герасимыча они оба были подключены, и при нагрузке на сердце предохранители не сработали».

Дом Юрина на краю деревни, с той стороны, где кладбище, до которого не больше версты, и гроб туда несли на руках рослые ребята из друзей-механизаторов. Кондрашов то подменял кого-то из них, то шёл рядом с родственниками Герасимыча; у могилы сказал перед всем народом, пришедшим проводить покойного, добрые слова благодарности за его честный труд и порядочное отношение к людям, выразив при этом глубокое соболезнование его родным и друзьям; а легли на свежий могильный холмик венки и цветы — всех пригласил в колхозную столовую, где был приготовлен поминальный обед.

Домолачивали поле без Юрина. Когда был подобран последний валок, день уже клонился к закату. Где лежал последний раз на этой земле их товарищ, свели комбайны в тесный круг и заглушили моторы, оставив незанятым в нём место для одного, стоящего в сторонке с работающим двигателем; а Кондрашова попросили заехать на своём «уазике» в круг. Ещё не понимая, для чего это надо, он заехал, и тут же последний комбайн перекрыл ему дорогу назад. И на поле стало тихо.

— Теперь и ты побудешь с нами, не уедешь, — объяснили ему, — Помянем Герасимыча.

Обычно с наступлением ночи комбайны пригоняли на центральную усадьбу; на этот раз они ночевали в поле, а людей уже за полночь развезли по домам дежурная машина и сам Кондрашов на «уазике». Трудно сказать, сколько будет жить в народе эта традиция, но теперь в деревне хорошо знают, где то самое «пьяное» поле, что каждый год вместе с людьми оплакивает человека, который до смертного часа своего не расставался с ним.

Но время неудержимо в своём стремлении двигаться вперёд; и наступали новые дни — то серые какие-то, безликие, то похожие на этот — удивительно светлые после ненастья, с весёлой петушиной переключкой. Для кого-то они стали лебединой песней, а в основе своей людям надо было думать, как им жить дальше в этой небольшой русской деревне на берегах Неручи, в самом центре Среднерусской возвышенности.

Таких деревень, как родная его Васильевка, по стране, вдоль ручьёв и речек, предки построили немало: недавно Кондрашов зашёл на почту и в каталоге почтовых отделений России насчитал пятьдесят Васильевок. Поглядеть на них со стороны — наверно, все они будут похожи друг на друга как родные сёстры, за редким исключением, конечно. Его Васильевку выгодно построили на левом берегу: все дома открыты свету, и после зимы, с приходом тёплых дней, солнце смотрит на них в упор; снег тает стремительно, но воды доходит до речки, которая в ста метрах от огородов, всего ничего — её забирают огороды и луг; большая вода шумит мимо деревни, по широким лощинам. В самой деревне только её подголоски — тонкие, или чуть грубее, возле каждого дома на солнце поблёскивают.

В два посада домики единственной её улицы живы радостью: от первого снега — густого и пушистого и первой капли; от первого ручья и первой стаи перелётных птиц, опустившейся под вечер за огородом. Радостью наполнялись их сердца от первого дождя с громом, и позднее, когда начинала зеленеть первая борозда; и ещё дальше, к лету, когда однажды утром на дорожку выкатывался вдруг из-под листвы под ноги первенец бледно-зелёный — первый огурец, такой пахучий, что этой радости хватало на всю жизнь. Но превыше всего была радость от первого крика ребёнка, которая сглаживала боль утраты на похоронах.

На этой деревенской улице, как на ладони, во все времена видна была жизнь каждого хозяина, чья калитка хотя бы однажды открывалась навстречу пришедшему дню, а из трубы тонкой верёвочкой вился дымок. Будь улиц больше — люди затерялись бы в них и не столько подробностей знали о том или ином человеке, хотя и особой беды в этом бы не было. Но время распорядилось по-своему, и о приросте улиц речи не велось, скорее тревожила одна большая забота: как уберечь эту единственную — истоптанную, изъезженную не за один век. Недруги налетали на деревню издалека, с мечом и пожаром; уже свои хотели стереть с лица земли напрочь, как и её соседей, выше по течению и ниже, таких же красивых, с прекрасными плотниками и печниками, искусными кузнецами, другими умельцами, по непонятным для них причинам утративших свою перспективность.

Думай не думай, а приговор подписали, не спросившись у них, лишили той самой первой радости, которой жили предки там веками. Посёлок, где живёт Наталья с Алёнкой, ещё сопротивляется, но по всему и он не устоит, потому что в основе своей там доживают уже в возрасте, как дед Илья, а это значит: неперспективные. И не понять Кондрашову самому, как не может он подсказать людям, где искать им свою перспективность. А ещё пронзила убийственная мысль: вдруг и его родную Васильевку завтра запишут в неперспективные, то есть время в

очередной раз прокатится по её улице? С чем прокатится — Кондрашов об этом пока не думал, попросту не успел, но мысль уже мчалась дальше: время вроде бы испытало односельчан всей страстью, которая имелаась в распоряжении человека; природа их щадила: никаких тебе землетрясений, ураганов и наводнений, — словом, золотая середина... ну, как же, как же, есть на земле ещё одна страсть в руках человека, и уже испытана на людях — чернобыльская!

Белым пушистым облачком, словно пёрышко, она незаметно повисла высоко над леском, затем распрямилась, раздалась вширь, потемнела и угрожающе рыкнула, роняя крупные, как горошины, и редкие капли; и только потом тяжело сползла низко над поймами. До солнца эта страсть не добралась; солнце пронизывало насквозь деревню, луга с разбросанными по ним лохматыми лозняками, полевые дали с просёлками, и над ними — дождь, несильный, как бы с ленцой, и удивительно светлый.

— Слепой дождь... не к добру это, — поучительно заметила тогда Хомутиха и поспешно спряталась под крышу.

— А может, наоборот, — к добру, — возразил ей Гаврил. — Помню, ещё мать моя говорила: если дождик слепой идёт — много девок рожать будут.

Хомутиха знает всё и про всех:

— Они и без дождя рожают, даже больше: смотри, сколько их по деревне после зимы. Бесстыжим

ничего плохого: родила — значит, мать-одиночка, а им государство денежку платит.

Солнце светило, капли стеклянно поблёскивали на лету; там, куда туча добраться не сумела, у самого истока Неручи, повисла яркая-яркая радуга. Ватага ребятишек — босоногих, с белобрысыми макушками, в ещё не успевших намокнуть рубахах — носилась по дороге, кричала: «Слепой дождь! Слепой дождь!»; в огородах копались взрослые, поглядывая на небо, спешили управиться с работой до большого дождя.

За разговорами, детскими забавами и заботами взрослых тогда никто ещё не знал, что от берегов украинской Припяти, где случилась большая беда, ту самую чернобыльскую страсть донёс неутомный ветер до Среднерусской возвышенности, до Неручи, и разбросал над ними дождевыми каплями. Так что и на этот раз всё видящая Хомутиха, сама того не ведая, оказалась пророком: Васильевку накрыло облако, напитанное стронцием и цезием.

Вот она, эта деревня, на единственную улицу которой незадолго перед этим переселили народ из посёлков и деревушек поменьше, рассыпанных по берегам Неручи, вдоль впадающих в неё ручьёв. По-разному их покидали: молодые — с радостью, мол, ближе к цивилизации теперь, по деревне асфальт, телефон, а торговля, культура, школа и почта рядом; кто постарше — с неохотой, сожалея, что покидают свой корень, где жили в радостях-печалях пред-

ки. Поди определи, какое счастье у них было; по рассказам стариков, жили не особо хорошо, но тоже по-разному. Домишки теснились по неудобьям да поближе к воде — барин-то землю берёт, всё делал с расчётом, но — увы! — только для себя: бывало, зайдёт пожар — в этой тесноте полдеревни как корова языком слизнёт, ну а ты молись-крестись, чтобы ветер не в твою сторону. Напустить бы на того барина нашего теперешнего инспектора Госпожнадзора Коршунова — сразу бы порядок навёл.

Да, советская власть не барин, но и она обижала мужика, по-своему, конечно. На памяти у стариков обид много: землицы под огороды то прибавляли, то урезали, трудодни также скупно отоваривали, а уж как тяжело доставался человеку этот трудодень-кормилец. Когда заменили его гарантированным рублём, людям жить стало легче. Просто так это не происходит: скорее всего, на самом верху поняли, кто государство держит, да и разбогатела казна государева. Пошла деньги — начал колхоз покупать новую технику, строить для людей жильё; тут-то и взялись переселять на центральную усадьбу из отдалённых деревень, попавших в разряд неперспективных, своих работников, точнее, их жалкие остатки, кого не забрал город.

Новых улиц не строили, так как на этой разъединственной, которую уже давно Николай Максимыч приобщил к цивилизации, также проявлялись пустующие усадьбы: люди также покидали эту де-

ревню в поисках лучшей жизни, а кто-то умирал в одиночестве, много раньше отправив детей за счастьем на стороне. Такие места и определяли под застройку, ликвидируя пустоты; потом дома прирастали к ней вдоль дороги, уходящей в поля. Вот Семанины, Заболотские, дальше Павличевы, ещё Заболотские, Кабанковы, Денисовы... Кондрашов много раз на дню проезжает по деревне и знает, чем живут эти люди, по природе своей не лентяи, как и предки их с берегов мелководной Неручи.

Кондрашовский корень почти на краю деревни. Незадолго перед войной, когда отец с матерью поженились и не захотели жить вместе с родителями (больше, конечно, не хотела мать), они построили себе домишко ближе к центру деревни, где у самого прогона, выходящего на луг, объявилось свободное место. Там удобно было водить скотину — луг рядом, и для огорода хорошее место — ровное, чернозёмное; там Иванов корень. А живёт он на дедовой усадьбе, где Кондрашовский корень от отца уходит в глубину девятнадцатого века.

Дед Василий Петрович считался в деревне неплохим хозяином: всё, что надо было семье для жизни, под крышей его построек имелось. Когда сын женился и стал жить своей семьёй, вместе с родительским благословением, в придачу, получил пару овец, телёнка, три колоды пчёл и ещё кое-какой необходимый для дома инвентарь. «Остальным обзаведёшься сам», — это были его последние слова

в их совместной семейной жизни; и оба остались довольны друг другом.

Дмитрий Василич выполнил отцовский наказ: крепкий, втянутый в работу с детских лет, он скоро и совсем неплохо обустроил свой дом для семейной жизни. Даже побывал на лесозаготовках около полутора лет и, не затерявшись на необозримых северных просторах, сумел для колхоза заработать леса с избытком, хотя валить его самому не пришлось: мужик он был грамотный, не в меру честный, и там пригляделись к нему и определили заведующим магазином. Каждый месяц он слал отсюда своей Шурке посылки с чугунками и сковородками, с отрезами на костюмы и на одежду детишкам; даже сумел обеспечить швейной зингеровской машиной.

Война прокатилась по деревне гусеницами тяжёлых танков; деревню рвали на куски взрывы бомб и снарядов; ненасытный огонь войны пожирал дома и сараи в течение полугода, пока стояла здесь, на её единственной, улице, передовая линия обороны северного фаса Орловско-Курской дуги. А шёл 1943 год, и этого побоища с фашистскими захватчиками ни отец, ни дед не видели: в ранних сумерках по мартовскому снегу всех мужиков угнали на станцию, погрузили в вагоны и отправили кого в Брянскую область, кого в Белоруссию, где их и освободила Красная армия. Отец ушёл вместе с ней и вернулся домой только в конце сорок пятого.

А потом время вершило дела мирно: дети подрастали, вступали в самостоятельную жизнь, старики уходили из жизни. Иван Кондрашов послевоенный. Пока рос и креп, пока учился — братья и сёстры разлетелись по стране, а она была большая. Он же после учёбы в институте возвратился в свой колхоз, недолго похолостяковал и женился, а колхоз ему как молодому специалисту построил дом, и подгадал прямо к свадьбе. «Живите, работайте, растите детей, — напутствовала тогда вручавшая ему с Маруськой ключи от дома первый секретарь райкома партии Коновалова. — Живите счастливо. И что происходит сегодня — для вас символично: дом, ключи от которого вам вручаю, построен на усадьбе вашего деда, участника революционных событий в Петрограде. Будьте достойны памяти своих предков».

Такая вот она, правда жизни этой деревни с единственной улицей, дорога от которой сразу за крайними домами убегает в полевые просторы. А если ехать с поля, то всё мимо и мимо домов, в которых живут простые люди со своими большими и малыми заботами; и замечают они, что забот у всех с каждым годом становится больше и больше.

6

«Уазик» шуршит колёсами по асфальту; дома слева и справа; возле своего Кондрашов не остановился — проехал дальше, до отцовского. Столько он

передумал сегодня всякого, что даже припомнить не может ещё такого в своей жизни. И неудобно ему стало перед самим собой: каждый день нет-нет да и вспомнит родителей, а вот заглянуть к ним хотя бы на минуту, завести буханку хлеба — не получается. Это же его корень: четверть века не живёт Кондрашов вместе с родителями, а ощущение: словно не расставался с этим домом. Вот и в ту заснеженную ночь он привёз сюда Наталью не случайно: по всему глубоко в подсознании думалось, что это самое надёжное место, где их могут понять и простить.

Сколько помнил Кондрашов, у матери всегда было полное, красивое лицо. С годами морщины схватили кожу лёгким морозцем у глаз и на лбу, но красоты своей оно не утратило, наоборот, вместе с редкой сединой они добавили матери той прелести, которой нет у женщин молодых и красивых, ещё не вошедших в бабью пору. В народе эту пору определяли по-разному, если говорить точнее, с индивидуальным подходом: на женщину смотрели как на райский плод, который ещё созревает и срывать который раньше времени большой грех. И всегда учитывалось множество показателей: сколько у неё детишек по лавкам, насколько успешно справляется со своими делами по хозяйству, как смотрится со стороны, какой у неё характер, как ведёт себя в общении с людьми, и ещё, и ещё...

Седина и морщины украшением тоже не для каждой женщины, а вот матери они были даны приро-

дой именно для этого: даже в простенькой кофте с короткими рукавами, с белыми или розовыми цветочками по сиреневому полю, или ещё какого-то цвета, она выглядела много моложе своих лет. А уж если разодеть её в наряды светские — красотой своей затмит всех Мисс, которых наловчились показывать по телевизору. Но для матери любимый наряд — синий жакет и юбка такого же цвета; она доставала их только по великим праздникам, коими считала приглашение на свадьбу или на именины, поездку в гости, допустим, к родне на престольный праздник, хотя по гостям была не любитель. Костюм придавал её фигуре стройность и строгость, но с годами мать надевала его всё реже и реже: поездки по гостям давно были забыты, а дома такой наряд ни к чему, обходилась самым простым: теми же цветастыми кофтами и шерстяными тёмными юбками. И сегодня мать в таком же наряде, сидела у окна и штопала карман в отцовской душегрейке. Отец тут же, за столом; на столе рамки, воцина, проволока, в руках шило — готовил рамки для наващивания. Взгляд у матери строгий:

— Явился не запылится, — заговорила она, лишь только Иван переступил порог. — Смотрю в окно: приехал; слава богу, живой.

— Какая пыль, дождь всё время, — попытался отшутиться он. — К тому же от дождей не умирают.

— Я думала, что ты поумнел с годами; вижу: нет. Так вот знай: умирают от всего, что есть в при-

роде и окружает человека; и от дождя тоже, с громом, конечно; от мороза, от машин, а уж о человеке и говорить нечего — только и слышишь: убили, убили, убили, — потом подумала чуть и добавила с какой-то грустью: — Ещё есть у человека страх, тоска — от них, Вань, тоже умирают. Слава богу, что мы с дедом не умерли, — пропал и всё тут. А народ всякое городит за него.

— Шурка, ты народ меньше слушай, — перебил её отец; и уже к Ивану: — А то пойдёт в магазин — и полны уши всякого.

Отец редко называл её по имени; в молодые годы при народе всё больше бабой: «Моя баба не такая...» или «Баба вчера протяпала картошку...», или ещё что-то в этом роде. А когда сам почувствовал, что постарел, стал называть и её соответственно этому возрасту: бабушкой — если в доме мир и согласие, но если между ними нелады, что бывало нередко, — старухой. «Старух, подай...», «Старух, принеси...», «Старух, налей...» — эти фразы были постоянными в разговоре между ними, но в любом случае означали и понимались они одинаково: «Шурка, подай...», «Шурка, принеси...», «Шурка, налей...». Очевидно, отцу было удобным однажды так её назвать, а потом привык; и самое главное — мать подавала, приносила, наливала и никогда не возражала, чтобы её так величали, поскольку полагала: пусть даже горшком назовут, но только в печку не ставят.

— А ты сиди и не встревай, — осадила она отца. — Заступник нашёлся.

— Старуха, я справедливый, — не сдавался отец.

— А я что, от лукавого говорю?

Иван с далеких лет всегда готов к такому разговору с матерью, потому что именно так всегда и происходит: сначала её упрёки — не важно, за что, и все с обидой на судьбу; потом пойдут наставления на правильную жизнь, вслед за которыми приходят уже другие слова, какие-то жалостливые, словно в глубине материнской души хрупким ростком робко просится на свет простое человеческое желание: мол, пожалейте меня. Вот и на этот раз как по заготовленному сценарию: сначала отругала, что дорогу к родителям забыл; забыл совсем! Конечно, для них больнее всего, что сын по сто раз на дню всё мимо да мимо; и это они с Маруськой по себе знают: точно так думают и разговаривают со своими детьми, если от них долгое время ни слуху и духу.

Отец посуровей рассуждает и намного практичнее:

— Ты, старух, особо не убивайся, он не ребёнок; пропал — значит, в делах закопался и ему некогда, времени не хватает. Я знаю, что человек от этого не портится. Да и вообще, судить по жизни, дети скорее о родителях вспоминают при большой беде.

Мать поперёк:

— Это как же понимать твои слова? Выходит, мы сидим и ждём беду? У них или у нас?

— Свила верёвку — не разовьёшь, — усмехнулся отец.

Иван ему в поддержку:

— Мать, никто не сидит и не ждёт. Хватит выдумывать. Отец сказал правильно: дел у меня — не разгребёшь лопатой за день, даже ночь прихватываю.

Материнский совет не задержался:

— А ты поменьше на посёлок заглядывай, тогда будешь успевать и без лопаты.

У Ивана мысль как молния: да, мать определённо что-то знает; не всё, конечно, больше догадывается, но старого воробья на мякине не проведёшь. И её тонкий намёк на их взаимоотношения с Натальей решил пропустить мимо ушей.

— Я и к вам по делам; такое время наступило, что раньше не мог даже представить себе этого.

— Дожили: к матери с отцом только по делам, а вот чтобы по-простому поведать, как сын, уже не способен, выходит. По телевизору посмотришь — по всей стране такая жизнь неуютная: родителей побросали, что ещё хуже — в дома престарелых сплывили, как детей беспризорных.

Отец прокалывает шилом боковые планки рамки, потом продёргивает через проколы проволоку, натягивает её, — как он всегда говорит, струнит рамку; усмешка с лица не сходит:

— Старух, ну приедет он к тебе по-сыновьи, и что? Сядет с тобой, и будете по-бабьи языки чесать?

— Почему со мной, — не сдавалась мать, — и с тобой поговорил бы, помог бы тебе на пасеке. Ты и сам — кто придёт к тебе, готов целый день пролялякать, особо если в горло зальёшь.

— Старух, он же тебе русским языком сказал: некогда ему. Это не советское время, когда всё по планам делалось: тебе столько-то, от тебя столько; поди сведи концы с концами, если в стране анархия, каждый плюёт на законы и делает, что хочет и не хочет.

— Много ты понимаешь, — в который раз перебивает его мать; в словах ирония. — С пчёлами никак не сладишь, а ещё за государство берёшься говорить. Вань, это он со мной такой умный, всё «старух» да «старух», а с пасекой никак не сладит. Вон опять...

— Всё перевернула, сатана, — вспыхнул отец. — Что ни сделаю — всё не так, не по неё. Как не слажу? Мёду накачали, продали уже; я за ценой не гонюсь, да и качаю его зрелый, когда все рамки запечатаны. А что нозематоз — вылечу; весной-то три семьи погибли — восстановил; что делать — бывает хуже. Вот и думаю: это не баба, не человек, а приют тёмных сил каких-то; и всё на меня, на меня...

Мать хочет что-то возразить, вид у неё взъерошенный; и в то же время откуда-то изнутри уже проступала в её словах и жестах, на полном её лице, как на незамутнённой водной глади, мелкая рябь

смирения, жалости ко всему, что вокруг, и в первую очередь к себе самой. По всему видно: мать виноватится в душе, а вот признаться ей в этом — превыше небесных сил. Иван с отцом уже почувствовали перемену в её настроении, но вида не подают.

— Ма, я, правда, по делу к вам заехал, — рассмеялся Иван. — А так, может, и не знаю, когда ещё зарулил бы. Целый день как заводной, а дождь работы не убавил, наоборот, загрузил по самое некуда. Меня дома тоже не видят; вот Серёжка приехал, и хотя бы пообщаться с ним, порасспросить о его жизни — нет, не удаётся.

— Вот, вот, я об этом и говорю, — в её словах уже обида. — Сам всё мимо да мимо; внук вырос без нас, и не видели — когда и как. Да он родства не будет знать! Привёз, дома спрятал: сиди. Так?

— Он дома не сидит, уже с утра на посёлок убегает, к Лариске Савельевой.

От матери снова упрёки:

— Дожили: сам истрепался, бегаючи на посёлок, и сын с пути сбился. Я тебе не раз говорила, чтобы свои походушки туда забыл, от людей стыдно...

— Старух, — перебил её гневную речь отец, — он пришёл по делу, а ты его... то меня, то теперь за него взялась.

— Все в тебя пошли, природь кобелиная, — сделала вывод мать. — Маруся узнает — плюнет на вас, будете жить одни. Да я сама ей всё расскажу.

- Во-во, разбей семью.
 - Ма, давай об этом больше не будем. Я же по делу, говорю: мне деньги нужны — тысяч двадцать.
 - Жениться надумал?
 - Мать, я серьёзно. Денег на счете и в кассе нет, горячее покупать не на что; в полную силу не молотится — комбайны простаивают.
 - Продай зерно, — посоветовал отец. — У тебя же ещё прошлогоднее лежит по складам.
 - Да, склады с зерном, но в стране такой бардак устроили с этим рынком, что у российского крестьянина его не покупают по достойной цене, а пользуется спросом завезённое из-за границы, которое якобы дешевле. Словом, перекупщики не берут, сбивают цены, а государству мы с самого начала не нужны были, так что от прошлогоднего урожая добрая половина лежит невостребованной. Новый урожай надо убирать, а денег на горячее и запчасти не хватает, да и какая судьба его ожидает — никто не знает.
 - Продавай своим людям по сходной цене, пусть разводят скотину.
 - У большинства денег нет, зарплату мы людям выплачиваем не полностью. Деньги сегодня только у пенсионеров — какая ни есть пенсия, а стали приносить вовремя. Поговорил с агрономом, и решили в долг просить; вот и езжу по деревне, уговариваю стариков.
- Мать молчала; отец перестал ковырять шилом,

закурил, пуская дым в противоположную от матери сторону:

— А когда рассчитаешься?

— Сразу верну, как будут в кассе свободные деньги; может, через неделю, может, через месяц они должны появиться — молоко-то продаём, а ещё коров выбраковывать надо. Могу и зерном долг вернуть: я уже дал команду выписывать людям — и своим, и на сторону.

— Зерно нам нужно, — согласился отец, — птицу кормить надо.

Накал страстей в разговоре спал; они ещё некоторое время посидели, обсуждая колхозные дела, удивляясь порядкам в стране, и только потом появились у матери в руках завёрнутые в носовой платок купюры.

— Вот на тонну зерна я уже приготовила, — сказала она, протягивая Ивану деньги. — Мешки возьмёшь — дед их приготовил; привезёшь пшеницы, но, смотри, не сырой чтобы: нам её сушить негде, да и заботы лишние не нужны.

— Эти заботы, старух, всем не нужны, а особенно тем, кто, как и мы, свой век доживает.

Кондрашов уходил из отцовского дома без чувства удовлетворения: да, родители не отказали, как не отказывают и другие, но до чего же не просто при этом объяснять людям, что он как председатель колхоза бессилён решать, казалось бы, такие простые, но жизненно важные вопросы. Ведь они в прошлом

сполна отработали своё, тем самым обеспечили свою старость, следовательно, не они должны помогать колхозу, а колхоз — им.

7

Солнце к обеду: высоко-высоко и в стороне от деревни, над речкой; дома на солнцепёке исходят жаром, деревья как в полуобморочном состоянии, не шелохнутся. Старики попрятались от жары под крыши да в тенёк, ребятня в речке; петухи, бесновато перекликаясь, купают пеструшек в придорожной пыли. Повыше домов, сразу за огородами, к полю ближе, возвышается двухэтажное здание правления колхоза, именуемое в народе конторой, где в просторных светлых кабинетах разместились бухгалтерия и отраслевые специалисты и где жизнь не замирает ни днём, ни ночью. С раннего утра здесь суета сует, особенно в уборочную: хлопают двери кабинетов, наперебой телефонные звонки и голоса снующих туда-сюда людей; сливаясь вместе, они с гулом бьются о потолок, рвутся через открытые окна и форточки наружу. Ночью на двухэтажку сваливается тишина, и бодрствует только ночной сторож Червяков, по прозвищу Мишака.

Вместе с конторой утром оживает и машинный двор, который рядом: слышны крики, смех и шутки механизаторов, кое-как успевших отдохнуть за короткую летнюю ночь, грохот железа; из кузницы

тяжёлые удары молота, подголоском — тонким-тонким, с переливами — молоток по наковальне; и над всем этим — один за другим, как наперегонки, резкие, надрывные, словно задыхающиеся от натуги и дыма, выхлопы запускаемых моторов. Но всё это до определённого часа: отбулькает, отпенится в горловинах топливных баков солярка, промаслены будут подшишники и цепи со звёздочками — и вся эта железная армада на стальных траках и резиновых колёсах отпылит на все четыре стороны, скроется с человеческих глаз за берёзовыми посадками, куда простираются колхозные поля. Правда, это когда-то они были колхозными; теперь у них не колхоз, а КСП — коллективное сельскохозяйственное предприятие, и людей теперь колхозниками не называют: на предприятиях только работники.

Техника по полям, но особой тишины не наступает. Кондрашову со второго этажа, из окна своего кабинета, хорошо просматривается машинный двор, чуть дальше — механизированный ток, где не менее шумно, а вдобавок и много пыли от работающих сортировальных машин. Гудят электромоторы, шумят в бесконечном круговороте триера и шнеки, отвеянное и просеянное зерно золотым ручьём стекает в бункера и склады, громоздящиеся рядом; а земляная пыль, недозревшие и перезревшие семена сорняков, полова плотной серой массой вырываются из трубы, что тупорыло повисла через проём в шиферной стене мехтока, и устилают землю. Сначала из

них вырастает небольшой ворошок, который час от часу прирастает; затем счёт идёт на дни, и вот уже он поднимается до самой трубы, по которой вентиляторы гонят отходы наружу. И тогда, чтобы трубу не забило, Ерёмин Коля подгоняет трактор с бульдозерной навеской и отгребает всю эту легковесную массу подальше от стены.

Сколько будет зерна в этом году, Кондрашов уже прикинул; но как оно пойдёт в реализацию, где они, эти купцы, которые приплывут на его удачу, и когда приплывут, — никто не знал, хотя договоры на поставку озимой пшеницы и пивоваренного ячменя он заключил ещё в январе; а как получится на самом деле — это уже вопрос времени.

С началом уборочной страды свой рабочий день он начинал в кабинете, но оставался там недолго — торопился на машинный двор, где в небольшой уютной комнатушке пункта технического обслуживания, служившей людям диспетчерской, сторожкой, красным уголком и ещё чем-то, вроде столовой, а в народе называвшейся дежуркой, вместе с отраслевыми специалистами решал все оперативные вопросы. И сегодняшнее утро практически ничем не отличалось: те же ранние звонки в соседние хозяйства о новостях и запчастях, потом стал просматривать лежавшую на столе оперативку вчерашнего дня. Но все бумаги отложил в сторону — в кабинет шумной компанией вошли работники животноводства, кто был причастен к делам отрасли и которых он пригласил на ран-

нее утро для серьёзного разговора; все — дипломированные специалисты с высшим и средним образованием. Повод был: два дня молоко отправлялось на маслозавод с повышенной кислотностью и с жирностью ниже базисной — так показали взятые заводской лабораторией на анализ пробы, и хозяйство потеряло на этом большие деньги.

Кабинет просторный, стульев, расставленных вдоль стен, хватило для всех. Кондрашов прояснил суть вопроса; главный экономист доложила, что за последние два дня с центральной фермы первосортного молока на маслозавод не поступило, одну партию даже отказались принимать из-за повышенной кислотности, и как результат — хозяйству нанесён большой ущерб. На второй ферме таких проблем не возникало, а руководил ею Заболотский — человек опытный, практичный, с мужицкой хитрецой, проявляющейся в самых разных ситуациях. Ещё при Николае Максимыче он работал главным зоотехником, но был понижен в должности, как считали многие, совсем незаслуженно. Николай Максимыч понял это и сам, позднее предлагал ему эту должность снова, но Заболотский отказался, объяснив при этом причину своего отказа примерно так: ему и тут, то есть на ферме, совсем неплохо. А случай произошёл комический.

На ферме ежедневные надои молока повысились, а при доставке его на маслозавод в приёмо-сдаточной квитанции стала появляться разница в весе не в

пользу хозяйства, причём на выпойку телят норма не увеличивалась. Сам заведующий фермой как три дня ушёл в отпуск, и его обязанности исполняла старшая доярка, которая не мудрствуя лукаво стала грешить на водителя молоковозки: мол, это он загоняет молоко «налево». Заболотский, узнав об этом, не поверил:

— Не берите грех на душу, Сергеич на это не способен, не позволит.

Да и сам водитель молоковозки Кузнецов утверждал, что ни налево, ни направо молоко не загонял. Заболотский же пришёл на ферму, с водителем потихому поговорил, и уже на другой день вопрос был снят с повестки дня. Заведующий сразу увидел, что приличные бидоны, в которые доярки сливали молоко и в которых оно отправлялось с фермы, заменены на старые, с крупными вмятинами на боках, очевидно, с другой фермы. А если вмятины, и большие, — следовательно, будет уменьшен и объём посуды. Доярки сливали надоенное молоко, каждая в свои бидоны и без замера, по привычке, так сказать; а старшая доярка, исполняющая обязанности заведующего, также по привычке записывала количество слитого молока по их заводской маркировке: сорок да сорок, а не тридцать девять или тридцать восемь. Заболотский на эту тему больше ни с кем не стал разговаривать: также потихому взял молоток и гвоздь да и продырявил самые-самые, на которые нельзя было смотреть без слёз, это чтобы их в дальнейшем

не использовали при отправке молока. На другой день снова шум, и снова на Кузнецова стали вешать это злодеяние, но виновник сам признался в его совершении:

— Спору нет, порча общественного имущества налицо, но мера эта вынужденная и во благо.

Николай Максимыч тогда с ним не согласился: можно было сделать по-другому. И Кондрашов, кстати, тоже: жалко испорченные бидоны — их можно было использовать на другие цели, к примеру, сливать в них обрат для телят. А как быть тут?

Каждый, как отвечающий за определённый участок на фермах, доложил об истинном положении дел, назвал причины случившегося. В кабинете становилось то шумно, то было слышно, как билась о стекло залетевшая через форточку пчела. Причины срыва лежали на поверхности; и самое удивительное: главный зоотехник Карпушкин — опытный специалист, что от чего зависит — знает хорошо, но по всему пустил на самотёк весь этот процесс. И пошло-поехало: коров доярки не выдаивали, а последние струи молока самые жирные; молоко вовремя не охлаждали и плохо промывали посуду; и ещё можно предположить, что ночью кто-то, не хуже кота, сметанку-то и слизывал. Словом, нужна контрольная дойка и постоянный пригляд за людьми.

— В работе, в целом, прокол, и вина здесь каждого из вас, — сделал однозначный вывод Кондрашов. — Два дня Суетова не как хозяин на ферме, а

как гость; лаборантка на больничном, и её не удосужились подменить; сторожа то водку пьют, то спят. Но меня удивляет в этих вопросах позиция главного зоотехника, и прежде всего как руководителя отрасли и как дипломированного специалиста, и не только в этом случае. Будем разбираться, для чего пригласим специалистов райсельхозуправления. А пока сделаем так: в течение трёх дней вместе с экономической службой хозяйства провести на фермах контрольные дойки и хронометраж, затем отрегулировать расценки по оплате труда, чтобы они в большей степени зависели от качества продукции; и по результатам проделанной работы определить степень вины каждого, кто завязан в этой цепочке, которая начинается от коровы и заканчивается в лаборатории маслозавода.

Этот разговор ложился неприятным осадком на душе не только у тех, кто потел и ёрзал на стульях вдоль стены, но и у самого Кондрашова: что делать, если говорить колючие слова и принимать непопулярные решения заставляют обстоятельства, о чём он и сказал открытым текстом. Поймут ли его правильно? Возможно, да. Ведь в кассе денег нуль, как и на счетах, а они нужны на горючее каждый день. Что-то по деревне он собрал, и вчера к вечеру бензовоз солярки слили в цистерну на машинном дворе, так что на ближайшие два дня его в достатке. За это время надо будет создать задел для дальнейшей работы, а вот как, за счёт чего — его ума придумать не

хватало. Входил в моду бартер, но что они могли предложить на обмен, кроме зерна, молока и мяса? Ровным счётом: ни-че-го! Сахарная свёкла будет только осенью, но и под неё кредиты уже брали; и, как ему объяснили популярным народным языком, больше не дадут. За молоко получают деньги сразу, даже выбирают наперёд; но всё до копейки уходит также быстро, как привыкли говорить, с колёс, то есть в кассу они не поступают и даже не знают, что такое касса сельхозпредприятия.

— Единственный возможный вариант у нас — снова с шапкой по народу и предлагать покупать зерно, — с горечью признался Кондрашов. — Может, кто подскажет, где нам деньгами разжиться?

— Иван Дмитрич, а мясо, — откликнулась Любочка Суетова.

— Мясо, Любовь Ивановна, съела посевная: что могли — всё вырезали, — развёл руками Карпушкин. — Да, бычки на откорме стоят, но им ещё расти и расти.

Любочка не соглашалась:

— Иван Дмитрич, я за коров говорю; у нас стадо большое, а толку мало, только корм переводим.

— Это почему же?

— Много плохих коров: старые, больные, малодойные; на колбасу их надо, а посыпку, что им даём, бычкам отдать — всё больше привесы дадут.

— Под нож, говоришь? — вспыхнул Карпушкин. — А как же будем выполнять план выходного поголовья дойного стада на начало будущего года?

«Дожить бы сперва до конца этого», — подумал Кондрашов, но слова Любочки без внимания не оставил:

— Деньги нужны, и, значит, будем думать, что и как. Надо экономисту посчитать, сколько молока потеряем, если выбраковать дойных. Не промахнуться бы нам, ведь молоко — это живые деньги на каждый день.

— Ничего не потеряем: лето кончается, а вместе с ним и пора большого молока. Дальше надои упадут, потом коровы уйдут в запуск.

— Ну хорошо, негодных коров сдали на мясокомбинат, а что взамен?

— Зачем на мясокомбинат? В соседнем районе частный колбасный цех открыли: один звонок — приедут, сами зарежут, деньги сразу.

— Дальше?

— Взамен приглядеть из первотёлок, которые попродуктивней будут.

— Взамен разнос от районной власти, что выходное поголовье сократили, — перебил её Карпушкин.

— Перекроем, — вступила в разговор техник по искусственному осеменению Верка Тамаркова, поличному — Веруха, — ведь отёл на фермах начнётся рано.

— Перекроешь, если всех коров покроешь, — сострил Карпушкин. — А чем оправдать сокращение поголовья дойного стада?

— Ха-ха, — рассмеялась Любочка. — Как будто не знаешь, чем. Да чем угодно: пусти их вынужденным забоем. Хотя какой здесь криминал? Ты что, деньги себе в карман кладёшь? Нет, на развитие хозяйства, значит, выгода прямая.

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — невесело пошутил Кондрашов. — А если серьёзно, то без выбраковки, наверно, не обойтись. Пока что ведём разговор о том, как нам выжить сегодня. В банке кредиты не дают, уже нахватили сполна; во-вторых, накопились долги по налогам и зарплате; ещё надо обновлять технику; и ещё... и ещё... А от государства никакой помощи, как будто ему не нужны ни молоко, ни мясо, ни хлеб.

— Из-за границы привезут, — с видом знатока подсказала Веруха. — К нам, ИванДмитрич, теперь тянут всё подряд, что надо и не надо: вот вам, дорогие россияне, ножки Буша — ешьте; вот вам пепси — запивайте. Своё пусть пропадает: как же, дорогое! А на том, что оттуда притянут, денежки хоро-о-шие гребут.

Слово «хорошие» она выговорила протяжно, каким-то грубым, чужим для неё голосом, да ещё с брезгливой гримасой на лице, что все сидящие в кабинете рассмеялись.

— Всё верно, Вера, — согласился с ней Кондрашов, — жизнь понимаешь правильно, во всяком случае, вещи называешь своими именами. А по-другому нельзя будет: это газеты, по радио и телевизору выдают желаемое за действительное, а нам тут видней, какая жизнь на самом деле строится.... Да что я говорю, — спохватился Кондрашов, — пока никакой стройки: только всё построенное при советской власти разваливают, а новостроек нет, одни обещания и прогнозы, которыми наши сегодняшние проблемы не решить.

Всем, кто в это раннее летнее утро стал прямым участником их разговора, было о чём подумать: они определили линию жизни пока на ближайшую перспективу, что позволяло хозяйству прожить ещё один год не в меру сложного и трудного для них периода развала сельского хозяйства и страны в целом. У Кондрашова этот разговор оставил неприятный осадок на душе; и хотя все последние дни какие-то невязки в работе он переживал с той суровой лёгкостью, когда человек деспотически относится к себе и не особо жалуется других, от кого в той или иной мере зависит успех дела, но сегодня почувствовал, что внутреннее состояние его души уже на пределе. Казалось бы, ну, что ещё выдумывать, если та же технология производства молока известна каждому специалисту! Да что там специалисту: каждая хозяйка, имеющая корову, но не имеющая соответствующего образования, уяснила для себя извечные правила,

как корову кормить, поить, доить, и не след отходить от них — в противном случае получится больше вреда. Такое в прошлом на фермах бывало, но на фоне финансовой стабильности переносилось безболезненно, а сейчас всё складывалось как по закону подлости: денег-то и так нет и, кроме как с молока, взять их негде.

В мыслях он снова возвратился к сложностям уборки урожая, и пока шёл к машинному двору, всего-то за несколько минут, загрузил себя делами хлебными сполна. Они напоминали о себе отсутствием денег, а сама природа напоминала о них запахами второй половины лета, витающими в воздухе и днём, и в ночные часы: знойным простором полей, приправленным запахом полыни, а ещё принесёнными с огородов запахами укропа и мяты; запахами щей из свежей капусты, малосольных огурцов, которые нёс горячий ветер вдоль деревенской улицы, просвечивающей чистое небо серыми шиферными крышами; и как вершина всего — особой людской суетой на машинном дворе, запахом свежей соломы у комбайнов, таким же с детства привычным запахом зерна, стекающего в золотой ворох на площадку под открытым небом. Это зерно уже сегодня люди будут насыпать в мешки и развозить по домам: они с благоговением ожидают этого дня, потому что именно в этот день создают запасы для своей скотины на целый год, до следующей новины.

В дежурке дверь ходуном — скрипучая, выкрашенная по весне, но уже хорошо затёртая. На подходе различил за ней горячий спор; слышен голос главного агронома — спокойный, уверенный:

— Ты, Мирон, лукавить со мной брось, я тебе не мальчик. Занарядил тебя — делай всё по порядку. Нечего спать на загонке.

Мироном по-деревенски зовут молодого механизатора Димку Сурова. Вот и его голос прорезался, как у молодого петушка:

- Я не спал, просто стоял.
- Чего стоял, не косил? Дождя ожидал?
- Солярка кончилась.
- Тебя два дня назад видели с канистрой на посёлке. Ты что там делал?
- Солярку искал.
- А может, слил её из комбайна и ходил туда продавать за бутылку?
- Михал Савелич, правду говорю: искал...
- Ходил искать солярку по посёлку. Кто её там потерял или поставил для тебя? Там же одни старушки живут. Всё равно проеду и проясню. Подтвердится — за солярку удержим в тройном размере, да за простой жатки экономист подсчитает, вот и влетит тебе солярка в копеечку, словом, бесплатно поработаешь. Солярки и так нет, а он вытворяет.

Дверь — скрип, и Кондрашов в дежурке:

- Это правда, что сливал солярку из комбайна? Михал Савелич кивнул головой:

— Там же одни пенсионеры, на посёлке-то, ну вот он и по бабкам: мол, купите за бутылку. Они отбиваться от него, ведь на что она им. А он уговаривает: плитку разжигать будете.

— Ты что делаешь! — взорвался Кондрашов. — Я по деревне клянчу деньги на солярку, а он следом за мной с канистрой.

Мирон молчит: понял, что позавчерашние его визиты с поля на посёлок уже известны, и отнекивается уже не так уверенно:

— Не сливал я солярку; а с канистрой ходил — это я за водой в колодец.

Он молча взял со стола путевой лист, и дверь жалостливо проскрипела ему вслед, словно пожалела этого человека в замасленной спецовке, небритого и неумытого, да к тому же попавшего в большую беду.

У Кондрашова внутри всё кипело:

— Очевидно, надо срочно экономисту подсчитать выработку и затраты по горючему на каждого механизатора, и по шофёрам тоже; если есть перерасход — ведомость на удержание из зарплаты, и конца года не ждать.

Иван Дмитрич, — усмехнулся Лылов, — мы им и так за два месяца уже задолжали. Как они ещё соглашаются работать?..

— А ты что предлагаешь? — оборвал его Кондрашов. — Открыли частную лавочку! От нужды на хлеб менял, на сало? Нет, конечно, на выпивку.

— Я пока размышляю и пока не знаю, что предложить. Думаю, будет правильно, если вовремяотреагируем; иначе всё разворуют на безденежье и попропьют.

Кондрашов после его слов невесело подумал, что финансовую систему хозяйства всё усерднее подтачивает тот самый червячок, который с древних лет поселился внутри воровитого российского мужика и медленно, но верно творит своё неблагоприятное дело, проще говоря, заставляет его приворовывать. Запомнился разговор на эту тему с отцом, а мнением его он дорожил всегда.

— Сколько живёт человек, столько и ворует, — говорил он, — но при этом не каждый способен на такое. В нашей деревне три человека по природе воровитые настолько, что хоть медаль им вешай за это, если бы такая имелась: с говном не расстанутся, всё подряд тащат. В Малоархангельском районе была деревня, где сплошное ворьё — от мала до велика: сосед у соседа ночью забор украдёт, а утром скажет, что забор этот вместе со свояком десять лет назад поставили; детишки никаких других игр не знали, кроме как в воров и разбойников. Особо при барине научились воровать, ведь это целая наука в деревенской жизни: всё кругом барское, а мужику на житьё не хватает, вот и воровали. Бывало, возят мужики с поля снопы на телегах; барин ходит, смотрит, как работают и чтобы не украли, а всё равно они умудрялись, на глазах у него. Укладывает мужик снопы

на возу, старается, притаптывает, и барин доволен: мол, мужик притаптывает, чтобы побольше воз получил и дорогой не завалился. На самом деле картина другая: мужик на возу потоптался, и зерно осыпалось на дно телеги; снопы разгрузили — зерно осталось в телеге, так что от работы на барина он уже не в убытке. А что было ему делать, если в доме нужда завелась.

— Но всё это в прошлом, там, а у нас сегодня другая жизнь. — возразил тогда Иван.

— Да, другая, но привычка, как червоточина, осталась. И даже нужды в еде не будет, он всё равно пойдёт воровать, с расчетом, что украденное когда-то пригодится.

Отец убеждал на конкретных примерах из деревенской жизни, и по стране прошёлся:

— Губернаторы, их заместители, министры миллионами воруют у государства, а значит, у народа, из нашего кармана тянут. Не сажают — значит, президент им потакает, чтобы поддерживали его. Тут теперь только Сталин нужен...

— Иван Дмитрич, — прервал ход его мыслей Лылов, — я перед вашим приходом на эту тему уже переговорил. Что ходил по посёлку с соляровкой — даже не сомневайтесь. Мы уже сегодня вывесим на двери решение: удержать за перерасход горючего в двойном размере; если назовём по-другому, кражей, тогда надо будет его судить, а жалко.

Кондрашов согласился: он всё-таки не был сторонником деспотических мер по отношению к людям; и ещё подумал: кто чем играет, тот тем и зашибается. Вот Мирон, тот самый Димка Суров, пропёрся на посёлок с канистрой солярки, а он, Кондрашов, ныряет туда же с другим; и с какой стороны ни подойди — как сказала бы мать, обоим надо судить судом нещадным: не по-божески поступает каждый, забыли заповеди. Или не знали? И совсем нехорошо сделалось у Кондрашова на душе; и впервые за летние дни не захотелось ему сидеть в этом помещении с затёртыми стенами и единственным пыльным окном, сдерживающим жизнерадостные потоки синевы и солнца, уже успевшем до его прихода пропахнуть сигаретным дымом и бензиново-солярной смесью.

Главному агроному как отраслевому специалисту, и как человеку тоже, Кондрашов доверял полностью: Лылов был настоящим хозяином агрономической службы, всё делал обоснованно, без лести и хитрости, оставаясь всегда открытым в решении любых вопросов. Накоротке уяснив для себя его планы на сегодняшний день, сверив их со своими, Кондрашов решил посмотреть, что и как делается на току и в складах.

— Идём вместе, — встал из-за стола Лылов. — Я здесь практически закончил.

Они свернули за мастерские — в них спозаранку работал токарный станок; прошли мимо кузницы,

из которой тянуло дымком, но наковальня ещё помалкивала, и, миновав высокий забор из прочного стального прута, сразу же окунулись в ровный шум работающих зерноочистительных машин. Механизированный зерноток в шесть завальных ям служил верой и правдой уже много лет; давно прошла пора машины обновить, но безденежье заставляло и эту работу откладывать на потом, до лучших времён, и слесаря-умельцы каждый раз продляли и продляли им сроки жизни. Так что автомашины с зерном от комбайнов под разгрузкой у завальных ям не простаивали: заскочит такая на эстакаду — и уже через минуту её кабина круто вверх, под самую шиферную крышу, а из кузова через открытый задний борт, как река в половодье, с глухим шумом рвётся золотой поток зерна; ещё минута — и грузовик уже громыхает по железу на весах. В этот утренний час на весовой ещё затишье, не спуют запыленные грузовики, но рабочий ритм зернотока начинал прослушиваться и просматриваться в деталях, знакомых каждому: распахивались ворота складских помещений, несколько человек несли весы к вороху зерна, отсыпанного для раздачи людям, где самые нетерпеливые уже ожидали с мешкотарой. Ещё с вечера туда принесли из дежурки стол, за которым предстояло сидеть с ведомостями кладовщице Насте, полной, с виду флегматичной женщине пенсионных лет.

Немногочисленная бригада слесарей несуетливо делала своё нехитрое дело: один заменял сита на нера-

ботающей сортировальной машине; другой — это был Кулачок — по-хозяйски хлопотал возле тех, что были запущены и будили своим шумом тишину; третий подливал в гидроподъёмники масло. Каждый выполнял свою работу без какой-либо спешки, без поучений со стороны и лишних слов, что говорило о полном взаимопонимании между ними. Ещё один, четвёртый из слесарей, сидел где-то наверху, возле бункера, и трудно было определить, что он там делал; но по его поведению, как он изо всех сил стучал молотком, часто и довольно громко матерясь, Кондрашов уяснил: это был Севалкин, слесарь с молочно-товарной фермы, которого на период уборки урожая перевели на зерноток и у которого в этот час что-то не получалось.

— Севалкин там? — уточнил Кондрашов у Кулачка.

— Степан старается, — ухмыльнулся тот. — Видать, шнек заклинило, и никак.

— Что ж он так ругается? На дороге слышно.

— А у него всегда так: три слова скажет, и два из них обязательно матом.

— Плохо.

— Что плохо? — снова ухмыльнулся Кулачок. — Плохо ругается? Наоборот — хорошо.

— Тоже мне шутник, — не удержался от улыбки Кондрашов. — Ты лучше мне скажи, как тут вам работается?

— Вроде ничего. Вон на той сортировке агроном

приказал сита заменить и ветерку добавить, чтобы зерно почище шло.

Громыхнув каблуками по железному настилу, сверху свалился Севалкин.

— Ты что же так себя ведёшь, неправильно? — сердито подступил к нему Кондрашов. — Сплошной мат исходит от тебя.

— Это я для связки слов, — невозмутимо ответил Севалкин.

— Севалкин, связывать нечего: слов-то нет, ни одного. Я вот приглашу участкового, и за нецензурщину в общественных местах он тебе и приварит.

— А что, он один, что ли, такой? — заступился за него Кулачок.

— С него начнём, а тобой кончим.

— Промахнётесь: даже когда выпью — не услышите от меня.

— Иван Дмитрич, за что ни возьми — всё Степан да Степан, всё я да я, — тоном обиженного человека заговорил Севалкин. — На ферме — я виноват, на току — тоже. Каким-то козлом отпущения служу.

— Я только пришёл и уже успел послушаться от тебя, ни от кого больше.

— Ну хорошо, пойдём, так и быть, покажу.

— Куда ты меня зовёшь?

— В кузню.

— В кузню, — с иронией протянул Кондрашов. — Сам ты кузня, а там, Севалкин, кузница.

Ему стало интересно, что хочет показать слесарь. Они пролезли через проём в заборе и остановились рядом с открытой дверью кузницы: оттуда мат-перемат, гы-гы да га-га. Заметили Кондрашова — обороты сразу сбавили.

— А вы, Иван Дмитрич, говорите, что я здорово ругаюсь, — с укором сказал Севалкин. — Это они здорово, а я — так себе.

Кондрашов молча смотрел на это раннее сборище людей, у которых, по его определению, с утра было хорошее настроение; а покурить, на их языке — расслабиться, причина была: на наковальне стояла уже опустошённая поллитровая бутылка и стакан, а на клочке газеты лежали корка хлеба, половинка свежего огурца и щепотки две соли.

— Это что у вас за производственное совещание? — нахмурившись, спросил он.

— Иван Дмитрич, вы меня поругайте, — без тени смущения отозвался на его вопрос кузнец Богдашкин, — за то, что я тут пригрел их на правах хозяина. А больше ругать не за что. Бутылка? Она стоит со вчерашнего дня: магарыч, так сказать, заработал вчера — гвоздодёр свояку сделал, вот он и расщедрился для меня. А так, почему бы им здесь не посидеть, и покурить, тем более — дым в кузнице всегда. Но, — тут он сделал паузу и пальцем, как учитель у классной доски, обратил внимание всех на наковальню, — это вчерашнее, причём после работы.

Что говорил кузнец — было похоже на правду, и Кондрашов понял, что ошибся в своих предположениях. Севалкин остался при своём мнении:

— Вы, Иван Дмитрич, сюда почаще заглядывайте, — и он засмеялся. — У него бутылки на наковальне с утра до вечера и каждый день; пока не зазвенят — никакой работы.

— Крючок, ты сам не просыхаешь каждый день, — нахмурился Богдашкин.

— Им на току проще, — вступил в разговор токарь Матюхин, — помог человеку насыпать мешок зерна — стакан, погрузил его на машину — ещё стакан.

У Севалкина рот в улыбке, до ушей:

— Такая такса; но главное — мы не в ущерб производству.

— Хватит! — оборвал его Кондрашов.

— Ему, Иван Дмитрич, не продолбишь, — подлил в огонь масла Богдашкин. — Крючки ещё и твердолобы, и кликуху этому суслику дали не случайно.

Кондрашов знал, что всю родословную Севалкиных в деревне величали Крючками, но вот у Степана Севалкина, как понял, были особые заслуги.

— Ему и по наследству она досталась, и сам себе заработал, — продолжал кузнец. — Он своего деда так и звал — Крючок. Крючок да Крючок. Тому за что дали — один Бог теперь знает, а с внуком ясность полная: однажды обиженный дед

решил объяснить внуку, что он не Крючок вовсе, а дед Алёха. Внук не понял его слов, и тут же ему отвесили подзатыльник. Он своё: Крючок да Крючок. Но дед Алёха ещё тот Крючок, и озверел совсем: схватил внука за шиворот и в воду-то и погрузил, а они как раз сено возле пруда подбирали. Нашла коса на камень: тот под водой, а руку изпод воды вверх и палец указательный крючком согнул, мол, как был ты у меня Крючком, так и будешь им до самой смерти. Ну дед Алёха ещё в большей ярости, хотел даже палец ему свернуть, да пожалел стервеца: сам обозвал его Крючком и плюнул ему в морду. Так что, Иван Дмитрич, сегодня напоминает нам деда Алёху кликуха — раз, и плешивая морда его внука — два: от того дедова плевка морда у Степана стала плешивой какой-то, пятнами да рыжинками покрыта.

В другой раз Кондрашов, может, и посмеялся бы этой весёлой истории, но только не сейчас, не в этой обстановке, и потому серьёзности не утратил.

— Всем хватит! — голос строгий, но чувствовалось, что большой бури уже не будет. — Я смотрю, вы тут по своему уставу живёте и со своими мерками. Довольно! И повторяю: ещё раз подобное увижу — будет в ущерб лично каждому. Пришли на работу — работайте, а сидеть нечего, лучше домой. И ещё: в разговоре мат на мате. Забыли, где находитесь? Забыли, как вести себя в общественных местах? Очевидно, да: забыли, распустились. И если

тут так разговариваете, то и дома не лучше. Значит, дальше ехать некуда. Мне как мужику неприятно слушать, а ведь вокруг вас дети, женщины. Я на подобное глаза закрывать не стану, так что выводы делайте; а сейчас все по своим местам.

Кондрашов уходил из кузницы и слышал за спиной молчание людей, которые, в общем-то, и не особо были огорчены состоявшимся разговором, и, скорее всего, потому, что, кроме Богдашкина и Севалкина, прямого отношения к нему никто не имел. Так нередко бывает: есть повод для предметного разговора, но получается он каким-то безликим, как бы несерьёзным. «Это ещё и потому, что безнаказанно всё проходит, — подумал он. — Только погрозился, а надо бы давно закрутить гайки». Так думал и в то же время знал, что не сможет он этого сделать по доброте своей душевной — взгреть только за плохие слова, сказанные вслух где-то среди людей.

Плохие слова — не пряник: они летят не в рот, а изо рта летят по причине бескультурья человека, не впитавшего в себя в определённых условиях необходимый словарный запас; а те, кто их слушает, они такие же — пропитанные тем же духом бескультурья; и получается у них в общении круговая порука. Только роли меняются: то одни говорят, то другие, то третьи, а все остальные в это время слушают и ничего, не краснеют.

8

Рабочий день на току входил в свои права твёрдой, размеренной походкой крестьянина, делающего своё нужное и важное дело так, чтобы плоды праведного труда его не пропали, и на протяжении целого года жило в нём чувство удовлетворения от сопричастности ко всему вечному, делающему человека счастливым. Но только в этом ли его счастье — посеять, вырастить и убрать самое необходимое, нужное им, живущим на этой земле, и всей стране, устремившейся в чужую жизнь. Чем чужая? Да уже многим, что крепко берёт за горло, сдавливая, как тисками, перекрывая кислород. Раньше, а «раньше» для них осталось в границах союзного государства, они знали: коли земля и всё, что на земле и под землёй, принадлежит государству, следовательно, им тоже. Теперь большую страну рвануло на части, все, кто на что способен, гребут под себя, от большого пирога снова рвут куски поувесистей. И, выходит, кто нахрапистей, тот и владеет сегодня несметными богатствами, — это новые хозяева России. И на Неручи теперь другая жизнь, но они ещё не совсем осознали время наступивших перемен. Вот она, их земля, — три с половиной тысячи гектаров пашни да ещё луга прибрежные по Неручи. Ещё вчера всё это было одним большим угодьем, а сегодня говорят: надо разделить на каждого, кто живёт здесь и работает. Поделили, и получилось на каждого по семь с

половиной гектаров. Ну что, мужик, вот тебе твой пай — владей. Теперь и ты настоящий хозяин: хочешь — паши, не хочешь — не паши; можешь продать, сдать в аренду. Кузнец Богдашкин рад бы пахать, да нечем: от основных средств ему задний мост от трактора достался, и другим чудакам, как он, так же получилось. Говорят, надо им кооперироваться. Выходит, большой колхоз растащим по домам, чтобы потом снова его создавать, но уже маленький. Кому это нужно? У нас — никому; там, в столице и дальше, за бугром, — да. Простому народу, таким как Богдашкин, Лылов, Кулачок, его Маруська и Наталья, нужна работа, хорошая зарплата, чтобы можно было обеспечивать себя и детей своих с внуками всем необходимым. Всё это у них было, и деревня их, где домики в два посада и застарелые ракиты по тесным прогонам, свидетелем тому. Разные живут в ней люди, по-разному смотрят на мир, а в мечтах одинаковы. Вот и ломай голову, как жить дальше. Хотя за них уже успели подумать: ловкачи предлагают сдать им эти самые пай в аренду на сорок девять лет или продать. Богдашкин, по его словам, с землёй расставаться не хочет: посажу, говорит, сад, засею травой и буду косить её для скотины. Упёрся и Кондрашов: земля ухожена, каждый человек при деле, получают зарплату — чего ещё желать крестьянину, если такой уклад жизни не создаёт людям проблем для семьи. А тиски-то всё сильнее и сильнее, дышать трудно стало. Дой-

дёт дело до банкротства — и проглотят с потрохами; правильное будет сказать — доведут: как ни крути, а законы, которые принимают, по сути, на это и направлены.

Но это всё в общем, а в частном — и здесь люди недалеко друг от друга: посеять и убрать — об этом не только он думает. Есть у людей ещё другая жизнь, личная, и у каждого на душе своё, сокровенное; и у Кондрашова есть своё, настолько близкое, волнительное, что временами подступают слёзы. И заплакал бы, да, видно, не ослаб он ещё сердцем, не износилось оно в радостях и невзгодах, выпавших на его долю. Потому и твёрд Кондрашов в своих решениях, не зашатался от перегруза. Устоять, пережить эти трудности надо, и, самое главное, — помогли ему в этом те же люди, которые были с ним рядом во всех его делах.

Рабочий день пришёл со сложностями, но, как иногда говорил дед Илья, не познав плохое, не оценишь и хорошее, а уж потом жизнь сама подсказывает, что надо делать. Вот и сейчас, погружённый в свои думы, Кондрашов не успел добраться до зерносклада и посмотреть, что делается там, как у весовой просигналил, очевидно, ему притормозивший знакомый «уазик»: Николай Максимыч появлялся в хозяйстве в самую плохую минуту, когда он, как медведь в берлоге, зажатый со всех сторон неразрешимыми проблемами, был бессилён вырваться из этого порочного круга.

Его приезд Кондрашова обрадовал. Бывший руководитель оставался для всех своим человеком, знал о делах в хозяйстве до мелочей, словно не расставался с ними и продолжал жить их заботами, глубоко переживая неудачи, радуясь успехам. Можно сказать, здоровье Николая Максимыча зависело от процветания этого небольшого, родного для него хозяйства. Любая людская беда для него была ещё большей: случись завтра, не станет хозяйства — и этого умного, практичного в делах человека также не станет на земле, не перенесёт такой потери для себя.

Кондрашов пошёл ему навстречу, на лице улыбка — как-то сразу отошли на задний план невесёлые мысли.

— Рад видеть, Иван Дмитрич, очень рад, — протягивая для приветствия руку, сказал гость. — Посмотрю на сводки — дела вроде бы идут неплохо; бывает, проскочу по старой памяти по просёлкам глянуть на твои гектары. И настроение у тебя вроде бы хорошее.

— Хорошего мало, — пожимая ему руку, ответил Кондрашов.

— Ну не скажи, — не согласился Николай Максимыч. — По всем сводкам и по срокам ты выглядишь молодцом.

— Молодец среди овец.

— Что так?

— Хвалиться нечем, сейчас увидишь.

Они прошли по мехтоку, постояли возле сортировок и у завальных ям: смотрели, пересыпая с ладони на ладонь, зерно, пробовали его на зуб. Потом пошли по складам, и всё говорили, говорили, давая оценку всему, что находилось на их пути и было важно на сегодняшний день.

— И всё-таки молодцом, — утвердительно подытожил Николай Максимыч, задержавшись на несколько минут на весовой, пока весовщица заканчивала подсчитывать намолот по культурам и убранные площади. — И не печалиться надо, а радоваться.

— Какая радость, — невесело усмехнулся Кондрашов, — прошлогоднее зерно лежит, девать некуда, а из-за этого ещё одна проблема: молотим, но, как сам видел, места в складах для нового урожая нет.

— Это уже другой вопрос, и не для тебя одного. Но знай: это ещё не беда; и гораздо хуже было, если бы закрома пустыми остались. А у тебя, брат, такое богатство, с которым не пропадёшь.

Кондрашов молчал — понимал, что Николай Максимыч так реагирует на его сегодняшнюю беду совсем не случайно, значит, считает её, эту самую беду, совсем не страшной. А Николай Максимыч продолжал:

— Так вот, милый друг, у тебя выход один: ставь на откорм телят, запускай зернодробилку — и через год ты миллионер.

— Бычки и так стоят, кормим.
— Ещё поставь — у тебя два помещения пустуют.
— А где я поголовье возьму?
— Закупи у населения.
— Они сами для себя откармливают — жить-то им надо на что-то, тем более мы им зарплату задерживаем.

— Они кормят до осени или до зимы; а ты у них скупай и дальше корми. Да что я тебе объясняю, когда весь этот процесс ты сам хорошо знаешь. И к тому же: цены скачут, и пока телки у тебя на ферме постоят, они сами по себе подорожают.

— Это всё впереди, — с огорчением сказал Кондрашов, — а мне уже сейчас зерно сыпать некуда.

Николай Максимыч хитровато хмыкнул в кулак:

— Ладно, и тут помогу. Собственно, с этим я к тебе и ехал. Есть возможность поработать на бартер: ты — зерно, тебе — технику. Какую — подумаешь, имею в виду трактора; прикинешь, что нужнее. Вопрос по зерну надо решать уже сегодня, а до нового года получишь технику.

Кондрашов насторожился: слишком упрощённую картину нарисовал Николай Максимыч. Тот угадал по выражению лица, о чём он думает:

— Не сомневайся. Это на словах я тебе слишком просто всё представил, а так — вопрос сложный. Есть в Курске фирма, и ты будешь иметь дело с ней, они уже напрямую с Белоруссией, с Минском, — техника оттуда.

Кондрашов если и сомневался, то где-то в глубине души — Николаю Максимычу он доверял полностью.

— Это я тебе по-дружески рекомендую, а ребятки делают хорошие, не подведут. Вот телефон, — и Николай Максимыч достал из нагрудного кармана пиджака небольшую синюю визитку. — Звони, договаривайся конкретно; хотя, доложу тебе, я с ними уже договорился, за твоей спиной, так сказать.

— Получится — скажу тебе спасибо.

— Скажешь, скажешь.

И он быстрой походкой пошёл к машине, очевидно, куда-то опаздывал; но вдруг остановился, на секунду как бы задумался и, развернувшись и подойдя поближе, спросил:

— Иван Дмитрич, это к нашему давнему разговору: не надумал вступить в партию?

«Надо же, как подъехал», — подумал Кондрашов; только подумал, а вслух сказал другое:

— Не думал, некогда думать.

— Зря, время идёт, — упрекнул его Николай Максимыч. — Нам такие люди, как ты, нужны, имею в виду компартию. А то ведь потеряешься — сейчас столько партий-однодневок, что от одних названий просто жуть берёт. Я полагаю, мы ещё поговорим. Но думай.

Николай Максимыч уехал. Кондрашов ещё с минуту стоял на весовой, вертел в руках синенькую визитку, на которой золотистыми красивыми буква-

ми светилась фамилия человека, способного сделать для него доброе дело. «Ну что ж, — подумал он, — сколько лет никому не удаётся обновить технику — не хватает денег даже на запчасти, и приходится на эти цели разукomплектовывать самые старые трактора, а тут, можно сказать, такая удача. Значит, будем делать». И, облегчённый мыслями о предстоящей бартерной сделке, он не задержался на мехтоку, а сразу направился в кабинет, чтобы звонить в Курск.

9

Лето уходило торопливо: ещё пару недель — и махнёт оно с бугра зарыжелой берёзовой веткой, словно прощаясь, шумнёт в лозняках на узких зелёных поймах; и только духмяные запахи сена и свежей соломы, настоянные на ароматах затяжелевшего сада, будут напоминать, что оно ещё вчера хозяйничало здесь, озабочивая людей, одаривая их радостями и бедами земного бытия. Наталье в этих днях печалиться причины не было: они заставляли думать, что в судьбе её произошёл крутой поворот, что ей отплакалось-отстрадалось на многие годы вперёд. И в свои счастливые дни она как-то реже теперь вспоминала то время неутешного горя, когда, казалось, было не продохнуть от навалившихся на неё бед и впрору уйти из жизни; и ту бельевую верёвку, как злую шутку, которую сыграла с ней судьба. Наталья тогда устояла, не сотворила большую глупость,

и теперь у неё совсем другая жизнь и жить хочется. Вот они, её девочки, при ней. После того, как Иван привёз Ларису, она ещё больше утвердилась: Иван её и только ей принадлежит. И надо же, до чего додумался, — обвенчаться. Значит, в делах своих не оторвался, не мыслит другой жизни, без неё.

Иногда Наталья, неожиданно для себя самой, вдруг представляла, что они живут одной семьёй: он, она, Лариса, Алёнка; такая вот дружная семья, в которой нет места плохому, мешающему их счастью. Потом как-то незаметно в её представлении семья эта увеличилась ещё на одного человека — к Ларисе зачастил Сергей.

Они с каждым днём всё больше и больше времени проводят вместе. Солнышко к обеду — и русая голова Сергея светлым солнышком скатывается к их дому. О чём они говорят, что делают — Наталье дела нет, хотя интересно бы послушать. Но она в своих заботах каждодневных, как в репьях: пораньше приготовить завтрак, ещё потопать по дому, накормить кур и поросят — она в этом году двух хрячков посадила в закутку; а уж потом на ферму быстренько — успеть, пока люди не разошлись. До обеда на ферме пусто и одиноко. Дойное стадо на летнем пастбище, в дальней пойме Неручи, где круглые сутки для коров травяное раздолье; туда же переправили доильную установку. Телят, которые ночуют на ферме, утром попят и угоняют вдоль просёлка к торфяным болотам: там вольничают они весь световой день, теле-

са на таком же травяном просторе наедают. В помещениях только три больные коровы и молоденькие, недавно появившиеся на свет телята, которых доярки должны две недели отпаивать материнским молоком.

Наталья ходит по территории, сидит на солнышке возле двери молочного блока, снова ходит и видит всё, что делается вокруг. По дороге машины туда-сюда, с поля на ток и обратно, — значит, за посадками молотят озимую пшеницу или ячмень; они с Иваном проезжали там с весны не один раз, и он всё прикидывал, каким будет намолот. Вот мимо фермы прогремел стальными траками старенький бульдозер, топливный бак у него на боку, как сумка у почтальона, значит, «почтальон» едет к силосным траншеям, которые чуть в стороне, и будет их чистить: по всему на днях начнут косить кукурузу на силос. Ребяшня с удочками прямо через ферму наладилась — туда, где в запруде на притоке Неручи жируют караси.

А вот засветилась солнышком белобрысая голова Сергея; сегодня он что-то раньше обычного и как бы спешит, и тоже не по дороге, а напрямую, как ребяташки, через ферму. Наталья стала смотреть в другую сторону, будто не замечает его. Шаги ближе.

— Здравствуйте, тётъ Наташ, — поздоровался, но не остановился.

— Здравствуй, Серёж. Куда это ты так спешишь?

— К вам, тётъ Наташ. Вчера с Лариской договорились сходить в посадку грибов посмотреть.

- Только посмотреть?
- Если увидим, значит, принесём, — улыбнулся её шутке Сергей; и заспешил дальше.

Она вдогонку ему говорить ничего не стала — знала, что его Лариса уже ждёт. Алёнку за руки — и пойдут они втроём мимо сада, по тропинке, к просёлку, по которому приезжает к ней Иван, и чуть дальше, где среди полевого простора вытянулась берёзовая лесополоса. И радость у Натальи на душе: сдружились, видно, приглянулись друг другу; и тревожно: вдруг окажется Лариса обманутой, а это будет для неё трагедией, потому что девушка она серьёзная, впечатлительная и о людях всегда думает хорошо.

И тут же Наталья себя успокаивает мыслью, что Сергей тоже не пустомеля, а серьёзный парень; ей даже кажется, что они и характерами похожи, да и внешне тоже. Будь Сергей черноволосым и лицом потемнее — можно бы смело утверждать об их кровном родстве. И улыбается своим мыслям: «Надо же, сделала вывод».

Сергей давно скрылся с глаз, а Наталья всё стояла и смотрела в ту сторону; и неожиданно подумала, что Лариса и Сергей уже в таком возрасте, когда люди редко ошибаются в своих поступках, и, возможно, отношения их уже больше чем дружба; и также возможно, что уже завтра они станут близкими людьми и друг для друга, и для них с Иваном и Маруськой.

Вот и солнышко на небе ровно над тополем, что у дороги стоит, значит, пора обеденная приспела, на ферме появятся люди. Кто-то уже пришёл и гремел ведром в помещении — не заметила, пока с думками своими наедине была. И как ни спешила домой — на двери уже висел замок: все трое ушли и по всему теперь не скоро заявятся, пока не насмеются, не натешатся и не приморятся сполна. У неё на эту пору тоже дела есть: надо идти в огород и обирать огурцы, помидоры и закрывать их в банки — и простым посолом, и под закрутку, готовить к зиме салаты: девкам надо, Иван заедет — закусить любит, особо огурчиками простого засола.

Наталья заметила за собой одну особенность: если много думает о нём — значит, скоро он должен к ней приехать. Иногда казалось, что в эти минуты они вместе в думках проводят время. И теперь она по сто раз на дню всё о нём да о нём, но неизменно возвращается к их последнему разговору, когда он привёз с электрички Ларису. Слова его в ушах теплым бархатом, на сердце сладость медовая: «... И это будет наш вечный брачный союз, даже после смерти будем вместе». Конечно, будем, милый мой человек: и сегодня, и завтра, всегда, потому что иной жизни для себя она не представляет.

Иван заехал к ней прямо на ферму после обеда. Обожжённый солнцем и горячим ветром, вылез из запылённого «уазика» и сперва прошёл по всем помещениям, добрался до силосных траншей, где до

обеда работал «почтальон»; и только потом они сошлись в том самом красном уголке, в котором впервые ощутил вблизи её дыхание и увидел волнующую синь озёр. Предполагая, что на ферме, кроме них, никого нет, но всё-таки опасаясь постороннего глаза, он прижал Наталью к себе, мгновенно погрузившись в эту синь; потом погладил шершавой ладонью по щеке — наверно, чтобы почувствовать нежность любимой женщины, и стал целовать — торопливо, как бы воруя, и с той жадностью, какая бывает у человека, изнывающего от жажды и наконец дорвавшегося до воды.

Она глубоко вздохнула, уткнулась счастливым лицом ему в плечо; и они замерли, слушая тишину помещения и неровный стук сердец, наполненных радостью встречи.

— Долго же ты ехал, — шёпотом сказала она.

— И всё-таки я спешил, — ответил он.

Его слова были приняты как оправдание, потому что услышал:

— Не оправдывайся; небось, случайно на меня наткнулся — забыл, что я здесь провожу свои дни.

— Не забыл, — его шёпот Наталье в ухо — мягонький, ласковый-ласковый, после которого трудно не поверить. — К тебе ехал, специально: дай, думаю, проверю, может, она тут с Петровичем...

— Дурачок, — шёпот вливается ему в ухо, будоражит кровь. — Дурачок ты мой, я без тебя умирала...

Где-то в дальнем конце помещения раздался глухой стук; Наталья замолчала и после короткой паузы пояснила:

— Корова больная там привязана.

И сразу же предложила:

— Но всё равно пошли отсюда, не место здесь для встречи.

Он понял, что Наталья думает не о себе, больше заботится о их общем благополучии; и они, не торопясь и негромко разговаривая, пошли по помещению коровника.

— Я что заехал, — сказал Кондрашов уже на выходе из ворот. — На носу первое сентября, и, помнишь, мы с тобой собирались поехать покупать Алёнке к школе. Сама понимаешь, у меня теперь часа свободного нет, а время не терпит. Сделаем так: завтра пришлю тебе машину, и поедешь с Алёнкой в райцентр; там походишь по рынку, приглядишь ей что надо. Деньги вот.

С этими словами он одной рукой достал их из бокового кармана пиджака, другой взял её руку, положил деньги на ладонь, а пальцы завернул и прижал, сотворив нечто похожее на кулак.

— Но ты же обещал, что поедем вместе.

— Обещал; и самому хочется, но чувствую — не получится. Одна справишься, а я вечером подскочу. Да, и по венчанию нашему: я хлопочу. Вроде должно получиться.

Он вышел из помещения и направился к машине;

она проводила его взглядом до ворот, ещё постояв чуток в раздумье, посмотрела на зажатые в руке деньги и медленно пошла к другому выходу, где снова о себе давала знать стуком о кормушку беспокойная корова. Шла и думала: «Вот сунул деньги в руку — и нет его, словно откупился. Поди угоняйся за ним. А я гоняться не буду, и деньги его мне не нужны». Наталья шла по коровнику, потом ходила по территории фермы и думала, думала, думала. Сидеть уже не могла — червь сомнения подтачивал её изнутри, как яблоко, которое висело бы ещё и висело, розовея от щедрого солнца и тёплых зорь, да вдруг завёлся в нём червячок и начал точить сердцевину; и теперь ему долго не висеть: ослабеет, ослабеет и однажды не удержится на тонкой ветке и окажется на земле. Наталья не находит себе места, мается, значит, тот самый червячок-обжора заработал ещё шустрее; и чувствует она, что силы её тают на глазах, что их уже не остаётся. Она почти упала на своё привычное место — на скамейку возле молочного блока и закрыла глаза. Голова шла кругом, во рту пересохло. Стиснула зубы и несколько минут посидела, не шевелясь.

На ферме уже появились люди — пришло время поить и кормить скотину, а она всё сидела, словно пригвоздили её к этой самой скамейке, и нет никаких сил, чтобы оторваться и уйти.

— Ты что сидишь, домой не идёшь; пьяная, что ли? — дёрнула её за рукав халата Любочка Суетова. — Или заболела?

Наталья вздрогнула:

— Не знаю, что-то плохо сделалось.

— Народ пришёл, всё тут вроде цело, так что шагай-ка ты домой. Полежи — и отойдёт.

Дома её ожидали те же дела, от которых после обеда ушла на ферму, но если тогда в руках у неё всё горело, то сейчас, за что ни бралась, всё валилось из рук. Девки её спали, очевидно, хорошо притомились, находившись на просторе, но скоро она услышала за перегородкой шорохи, поскрипывание постели и негромкое хихиканье; а это говорило о том, что они проснулись, и теперь начиналась обычная картина дня: хи-хи да ха-ха, да ещё какие-то шутки; и ещё много чего весёлого будет исходить от них, пока не налезатся, не нанежатся и не встанут.

А Наталья услышала их — как выпила таблетку: в голове посветлело и перестало шуметь, мысли дурные уплыли, как дождевые тучи, гонимые ветром, и лицом посветлела.

— Проснулись, голубки, — она подошла к ним, присела на край кровати. — Видно, хорошо было, что долго ходили. А где же ваши грибы?

— Мамуля, — важно сказала Алёнка, — они вон там стоят, — и пальчик качнулся в сторону двери, — в коридоре, под лавкой. Их там много стоит, и всякие.

Говорила она медленно, важно надувала губы, и как бы причмокивала ими, что Наталья и Лариса одновременно рассмеялись:

— Ах ты, Снегурочка наша! — и щипать её, и щекотать, отчего она зашлась в хохоте и визге.

Наталье и вовсе дышать легче стало, отхлынула тяжесть, что сдавливала грудь тисками, и думки её невесёлые, словно пёрышки на ветру, уже в сторонке. Но недалеко они, рядом, и кажется: только тронь их, ворохни легонько — и снова обложат её со всех сторон. Но вот они — её кровиночки, её жизнь! И Наталья крепко обняла дочурок, кому не побоялась в своё время дать жизнь и кто теперь продлевает её.

Им всем было весело. До позднего вечера дети помогали ей готовить на зиму принесённые с огорода овощи, перебирали и мыли грибы; и, работая рядом с детьми, Наталья успокоилась, душа её как бы оттаяла, стянутая холодом прихлынувшей то ли обиды, то ли ревности, а скорее всего — и того, и другого.

Лариса работала в её халате. Уже перед самым вечером, стоя у газовой плиты, она решила утереть потное лицо и с этой целью нащарила в кармане какую-то тряпочку, достала: носовой платок, в который было что-то завёрнуто; развернула — деньги.

— Мамуль, тут вот, в кармане, деньги в платочке.

— Да, дочь, мои, — встрепенулась Наталья.

Она взяла их, вся в смятении, и уже хотела положить в ящик стола, но вдруг увидела среди купюр клочок белой бумаги; а развернула его, пробежала по строчкам глазами — и вспыхнуло розовым цветом лицо. И тут же на нём проявились все чувства, которые она испытала: сердце трепетало от радос-

ти — он всё-таки её и никуда не уходил; проскользнуло сожаление — напрасно подумала плохо о близком человеке. Ещё раз быстренько пробежалась по строчкам, заподозрив в его писанине какую-то непорядочность по отношению к ней. Но смысл записки был прост и ясен как божий день: «Милая, Алёнке знаешь что купить, а себе возьми в раймаге серьги. Я так хочу».

«Хотя бы ковылюшку какую поставил, — подумала Наталья. — А вообще, на что она нужна, его подпись, если и так понятно, кто писал. Что это, документ какой? — и улыбнулась: — Хотя, может, и документ: деньги-то, вот они, при ней». Натальины раздумья — как заревые всполохи, короткие и яркие, но этих мгновений было достаточно, чтобы старшая дочь заметила, как глубоко затронула записка состояние материнской души.

— Мамуль, мам, что-то серьёзное? — спросила она.

— Не, дочь, — встряхнулась Наталья от своих мыслей, решив из этой записки тайны не делать. — Кум, Алёнкин крёстный, передал денег и написал, чтобы купила к школе ей всё необходимое. Завтра пришлёт машину, и поедет с ней на рынок.

— А я думала, случилось что: у тебя такой был вид! — и Лариса весело рассмеялась, скорее всего над собой и своими предположениями.

— Да неудобно как-то: вот прислал, а у меня душа не налегает их брать.

— И ничего тут плохого нет, — успокаивающе сказала Лариса. — Ну прислал; он же крестный отец и для дочки старается. Что плохого?

— Плохого нет, — согласилась она, — а вот всё думаю.

— И нечего думать, это его дело. Раз просит купить — значит, надо делать, — и, как бы считая этот вопрос решённым, спросила: — А меня-то с собой возьмёте?

Наталья улыбнулась:

— Ну как же, выбирать всё будешь ты, ведь ты учительница и знаешь, что надо первокласснику.

Следующим днём была суббота, которая считалась в районе большим базарным днём, когда в райцентре на рынке проводилась распродажа всевозможных товаров, и непременно с учётом сезонного спроса; а съезжались на рыночную площадь более сотни машин из дальних и ближних краёв — кто продать, кто купить. В считанные минуты устанавливались палатки и лотки, и начинало пестрить в глазах от привалившего изобилия невесть откуда доставленных цветастых нарядов: турецких, польских, прибалтийских и немецких, своих и ещё недавно своих, а теперь считавшихся ближним зарубежьем, — украинских, белорусских и других соседствующих бедных родственников. Торговавшие одеждой сбивались к одной стороне; напротив выстраивались прилавки с обувью; в самом дальнем углу обустроивались со строительными материалами, мебелью и всевозмож-

ными железками; с продуктами теснились у входа на площадь и в небольшом крытом павильоне, в котором в благополучные советские времена местное потребительское общество торговало мебелью. А всем другим, кому не хватало места на этой площади, зажатой с трёх сторон частными заборами, приходилось довольствоваться тротуаром и обочиной проезжей части прилегающей к ней улицы.

Добравшись до рынка на присланной Иваном машине, они ходили по его проулкам и улицам, словно по палаточному городу, и высматривали, примеряли Алёнке различную одежду и обувь. Наталье было приятно, что вот ходят они все вместе, всем им хорошо; и в какую-то минуту сожалела: а ведь было бы ещё лучше, ходи с ними здесь Иван. И всё-таки в душе её жило довольство, и она уже соглашалась с тем, как складывались обстоятельства. «Ничего, — думала она, — приедет вечером и вместе с нами порадует Алёнкиным нарядом, увидит, какая она у нас красивая в них будет. Да на неё какую тряпку ни надень — всё как украшение».

И тут же стала размышлять: покупать себе серьги или всё-таки обойтись. И хотелось, и в то же время было жалко тратить его деньги: ведь, глянь, сколько уже потратили! В конце концов решила: купит, тем более Лариса сказала, что просьбу надо выполнять. Но как это сделать — ещё не знала. Помог случай: продавщица, что предлагала для Алёнки лёгкую вязаную шапочку, разговаривая с ними, по-

стоянно трогала руками небольшие серебряные серьги, как бы проверяла, на месте ли они. Заметив, что Наталья раз от разу приглядывается к ним, пооткровенничала:

— Недавно повесила и ещё не привыкла к ним. Подарок хорошего человека. И давно подарил, а я всё стеснялась... — тут продавщица сделала паузу и поправилась, — точнее, боялась мужика своего: увидит, прицепится — зачем да зачем купила? А что я ему на это скажу? Что подарил любимый человек? Да после таких слов он меня сразу же на тот свет отправит вместе с подарком. Он у меня такой вредный! Чуть что понарядней на себя надену, или короткую юбку, да не дай бог с разрезом, — сразу скривится и давай тогда...

Что скрывалось за словом «давай», для Натальи было понятно и без пояснительных слов, и она участливо кивнула головой; а продавщица продолжала:

— Так и боится, что меня такую кто-то другой увидит. А что плохого, если ты кому-то другому нравишься? Вот ты какая красивая; а если тебе на уши повесить серёжки, пусть даже самые дешёвые, уже другой вид будет.

— Я за свою жизнь ни разу их не надевала, — призналась Наталья.

— Зря. Я тоже не носила, а сейчас думаю, что надо бы давно носить, тем более это память.

И она снова потрогала их руками.

— А как же мужик?

Ему я сказала, что сестра подарила.

— У сестры спросит.

— Она знает, я ей всё рассказала.

Лариса, которая всё это время была занята Алёнкой, но слышала их разговор, вдруг сказала:

— Мамуль, и правда купи себе; или нет, я тебе подарю с первой полочки, — и сразу же поправила себя. — Не-не, мамуль, ты купи сегодня, и будем считать, что это я их тебе купила; а деньги с первой полочки отдам. А, мамуль?

И Лариса вопросительно-утверждающе посмотрела на мать. Наталья не раздумывала, она просто стояла, делая вид, что думает.

— Купи, купи, — поддержала Ларису продавщица, — всё память будет.

И они пошли в раймаг, долго выглядывали их под стеклом витрины, лежащие в коробочках и без них, разные по красоте и деньгам. Наконец приглядели: понравились, и не дорогие. Попросила их, поддержала возле уха — одного, другого, потом сразу к обоим приложила и — к зеркалу: глазу приятно!

— Ой, мамуль, хорошо как! — восхищённо сказала Лариса.

— Хорошо — значит, хорошо, — согласилась Наталья; и удовлетворённо подумала, что если дочери покупка понравилась, ей, кстати, тоже, то и должна понравиться Ивану.

Но Иван вечером не приехал. Ночью Наталья плохо спала, утром встала вся разбитая какой-то не-

ведомой силой, практически лишённая способности к делам по дому, что ожидали её каждый день. Не появился он и в этот день; и ещё два дня могла терзаться без него Наталья, но вся боль беспокойной ночи, обида и утренняя неспособность к жизни не находили питательной среды. Можно сказать, её душевная рана, похожая на обширный инфаркт, начинала зарубцовываться; и не сама по себе, не от простого дуновения ветра или животворного лучика солнца, которые легли бальзамом: уже перед обедом пришёл Сергей и сразу же передал Ивановы слова:

— Отец сказал, чтобы я извинился за него, что он не приехал вчера. Ему срочно в Курск надо было. Мать сказала, и сегодня вместе с солнышком туда умчался. Так что извиняйте, тётъ Наташ, его.

После этих слов у Натальи внутри отлегло: «А она-то бог знает что подумала, дура набитая!» И холодный лёд недоверия к Ивану, подозрительности сразу начал таять под тёплыми мыслями о пережитом ею рядом с любимым человеком. Всё у неё на виду, как на ладони; сколько дней, которые складывались в месяцы и годы, сколько событий, которые связывают их! «Нет, — думала она. — Ванька её не кобель какой-то; всё у него чисто и светло. А что делать, если любовь у них такая, украденная как бы? Да ничего — все приворовывают: кто деньги, кто сено, кто доски; одни — побольше, другие — поменьше; и живут — совесть не грызёт. А любовь...»

Тут она на минуту задумалась, мысли её тормознулись, но потом поплыли дальше: «Если она светлая, пусть и украденная, — чего стыдиться.»

День позади, другой; вот и третий помахал зелёной веткой в окна, а вечер зажёл в них и на небе огни. В посёлок пришла ночь и, как хозяйка, стала их тушить. Наталья долго не засыпала, но всё-таки сон подступал, наваливаясь всей своей тяжестью на руки и ноги, тяжелели и слипались веки, и реальный мир с его извечными шорохами и звуками за окнами дома незаметно отдалялся и начинал глохнуть. Она несколько раз вздрагивала, слух её снова понижывал ночную полутьму, но, ничего радостного так и не найдя, снова начинал тупеть. Наталья не могла определить, сколько времени она находится в таком состоянии — час? два? Где-то на далёком перегоне гуднул поезд; потом уловила тоже далёкий, ровный шум, похожий на гуд. «Нет, это не поезд, — подумала она. — И всё яснее и ближе». Лежала и слушала: из-за перегородки доносилось посапывание спящих детей — они тоже улеглись поздно, но, как думала Наталья, уснули сразу, приморённые работами по дому; а тот гуд уже совсем близко, потом его неожиданно не стало слышно. «Приехал!» — простучало сердце.

Наталья встала, надела халат и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь.

Но Лариса не спала: лежала, счастливо улыбаясь ушедшему дню, который провела вместе с Сергеем;

слушала, как ворочается в постели мать, как вздыхает, вороша свои родительские думки; слышала, как она встала с постели и вышла; когда вернулась — Лариса не знала, она уже давно спала, не менее счастливая, чем её мать.

10

Над ближними и дальними лугами, над полями — то серыми, со стернёй и остатками соломы, то зелёными, где доходят сахарная свёкла и кукуруза, то чёрными, где уже прошёлся плуг; над просёлками, на обочинах которых, запоздало доцветая, тянется к солнцу бледно-желтый донник, прибавляют благодати синеглазый цикорий да густая щётка подорожника; над огородами и домами, — над всей родной землёй благодать предосенних дней. Солнце доплывает до зенита, оглядывает всю эту красоту и потихоньку книзу, туда, где зеленеют поймы Неручи, наполненные густыми запахами разнотравья. Чего в них только нет: шёлком стелется мелкая травка, покрупнее и такая же нежная; рядом ещё красота — цветом бледнее, но таким светом горят её распустившиеся цветы — за версту видно; чуть ниже и выше по склону — бурьян, крапива да колючки, со всех четырех сторон давят. И близко вокруг ни жилья, ни человеческого голоса. А где слабеет человеческая деятельность, там наступает природа и одолевает человека. Вольготно травам на тепле и влаге! Одни

давно по срокам отошли, другим желанная пора. Они набрали силу, но уже не доходит туда коса, и травы останутся невостребованными: застареют, пожелтеют и поздней осенью поникнут, лягут непроходимой серой полосой.

Что делать — пришли другие времена, когда человеку проще и легче добыть скотине корм на поле. Это послевоенные деревни, победившие врага, голод и разруху, выкашивали всё до клочка, а сегодня на этих землях деревень заметно поубавилось, народ вымирает, и пустеют скотные двory. Не один Кондрашов видит, что народ пошёл не тот: и не хилый вроде, но в работу не втянутый. Хочет — работает, не хочет — колом не заставишь, тем более косою махать.

Раньше бабы, да и мужики тоже, в любой час дня и ночи сходились посидеть на брёвнах, что лежали напротив Хомутихиного дома. Эти брёвна штанами и юбками так отшлифовали — любой мастер-краснодеревщик позавидует; и ещё сидело бы на них, наверно, не одно поколение, но кто-то самый расторопный ночью брёвнам приделал ноги, а если говорить современным языком — приватизировал их без составления каких-либо документов. И тут ничего не поделаешь: если с десятков лет назад на пустыре за мастерскими лес лежал вагонами, то теперь золотой запас истратился — ни доски, ни брёвнышка, даже для самого необходимого не нашаришь. Словом, арены не стало, а без

неё как? И, откликаясь на просьбы трудящихся, Гаврил построил другую — длинную и широкую скамейку, доску для которой у Кондрашова из склада всё-таки выпросил: мол, не лично для себя стараюсь, а для общества.

И вот сошлись бабы в очередной раз, уселись на скамейку и всё о жизни, о жизни — об этой самой. А она у всех разная и, в то же время, одинаковая.

— Вот ты молодец, — устраиваясь поудобнее на скамейке, похвалила Фролова Тося подошедшего к ним Гаврила, — прямо всем угодил: сидим как в театре.

— Для тебя старался.

Довольный похвалой, он плюхнулся рядом и погладил её по спине.

— Погладь, погладь, если хочется: как-никак, а заработал.

Гаврил всегда был смелым мужиком и за словом в карман не лез.

— И ущипнул бы, но только не здесь. Давай в другом месте?

— Давай, герой, — и Тося придвинулась к нему поближе, — если Варька твоя не против будет.

— А я, бабы, своего крокодила пока не накормлю, ничего не хочет делать, — вступила в разговор её соседка Тося Воронина. — Вишь, Гаврил построил, и обкосил вокруг. Молодец, да и только. А я сказала своему, чтобы тропинку обкосил, — в огород уже не пройти, так он меня послал...

И она замолчала, давая уяснить, как далеко её послал мужик.

— Да разве одного твоего не заставишь косою махать, — фыркнула Фролова Тося. — Вот они, все на виду. Назовите мне, какой мужик в деревне может хорошо отладить косу, а?

— Я, — ухмыльнулся Гаврил.

Ты не в счёт, — с ехидцей сказала Хомутиха. — Ты теперь у нас за образец будешь.

— Ку-ку, волки съели, — подвела итоги опроса Фролова Тося. — Ни одного нету.

— И с бабами мужики теперь такие, — с видом знатока сказал Гаврил, — от баб шарахаются как от чумы.

— А на что они нужны, если теперь детей будут по-новому делать: говорят, разработали какой-то новый метод.

— Бабы, оно и старый метод неплохой, — лукаво улыбнулся Гаврил. — Я вот что думаю: сколько ни придумывай, а лучше старого, который дедами проверен, он всё равно не будет.

— Деляга, всё знает. Сидел бы уж, — одёрнула Хомутиха мужа. — Вон Ванька не шарахается, гляди, как он с Натальей: колом не разгонишь.

— Ты всё знаешь, — огрызнулся Гаврил. — Тогда скажи мне, чем собака отличается от бабы?

И, не дожидаясь ответа, продолжил:

— Собака на хозяина не лает.

— Я тебе дам «собаку», — взорвалась Хомути-

ха, срываясь в крик. — Всё знаю! И про тебя, зверёныш, знаю! Придётся и мне колом завестись, вот тогда по-другому запоёшь!

Хомутиха знала, что говорила: буквально вчера ей шепнули, что её Хомут своё свободное время зря не тратит; и сказал верный человек.

— Знахарка несчастная, — презрительно процедил сквозь зубы Гаврил; и сплюнул.

Получилось так, что плевок пролетел мимо Хомутихиного лица; чуть левее — и залепил бы её последний глаз.

— Я тебе плюну! — озверела Хомутиха. — Я тебе так плюну, что родную мать забудешь!

И со всего маху огрела мужа кулаком по спине, да так, что он взвыл диким голосом и свалился со скамейки. Бабы дружно рассмеялись, вспомнив сразу Натальин плевок в неё возле магазина, но тут же стихли: жалко стало Гаврила, который то ли от боли, то ли с перепугу никак не мог подняться с земли и всё лежал и охал.

— Ты что, Варька, с ума сошла? — насыпалась на неё Фролова Тося. — Мужик же, а ты его колотишь! Убьёшь или калекой сделаешь.

Она наклонилась над Гаврилом, взяла его под руку, помогая подняться.

— Пусть знает, что говорит и делает, — поучительно сказала Хомутиха. — Будет ещё плеваться — что-то с ним и сотворю. Но это пока ещё не всё — и дома разговор будет.

— А ты что плетёшь? — шумнула на неё Тося Воронина. — Дался тебе председатель.

— Бабы, что знаю, то и говорю, — не сдавалась Хомутиха. — И как не сказать! Да лопни мой последний глаз, если он опять не возил Наталью. И куда, вы думаете?

Бабы молчали, ожидая, чем удивит Хомутиха; прибитый ею Хомут постанывал, побряхтывал, отряхивая брюки. Она посмотрела на подружек, потом на мужа и, махнув в его сторону рукой, мол, жив будет, не умрёт, продолжила:

— И не угадаете, да. Значит, так: нынче у нас двадцать... ага, восьмое, а это было девятнадцатого, как раз на Спас. Почему запомнила — у меня тогда свинья погуляла, и, чтобы не забыть, я на закуте мелом и записала. Такое вот дело приспело, а мы было собрались в церковь ехать — не в нашу, а за Поныри: старшая дочь сказала, что с зятем заедут за мной, и, мол, там батюшка дуже хорошо службу справляет. И что вы думаете: смотрю, а там, в машине возле церкви, Наталья и ещё какая-то пара.

— Ну и что? — перебила её Фролова Тося. — С ними она и приехала, как ты с зятем.

— Ага, с зятем, — возразила Хомутиха. — А машина-то председательская, уж её-то я хорошо знаю: как-никак, а каждый день вижу.

Председательский дом хотя и на приличном расстоянии, но всё-таки считается соседским.

— А Ваньку-то хотя бы видела? — спросила другая Тося, Воронина.

— Нет, бабы, грешить не хочу, не видела: мы тут в церковь скорей. Но это было ровно неделю назад, я говорю, мелом на закуте как раз записала, какой день.

— И что потом?

— А что могло ещё быть: из церкви вышли — никого, уехали, значит.

Каждый воспринял эту новость по-своему, но никто из них не мог сказать точно, с какой целью приезжали туда односельчане. А Хомутиха своё:

— И ломать голову нечего: возит-возит, да ещё как. Не случайно же всё сам за рулём, без шофёра ездит, чтобы без свидетеля.

Варька Хомутиха и на этот раз была права, и снова единственный глаз её не лопнул: Кондрашов в тот самый Спас рано утром действительно уехал в соседний район, где на окраине одного небольшого посёлка стояла действующая церковь. Как рассказал ему друг по институту Андрей Дёмин, который, кстати, и был там со своей подругой Ольгой, настоятель отец Владимир готовился отметить храму двухсотлетний юбилей и в делах православных не особо преуспевал, а потому и приход его считался бедненьким: дохода едва-едва хватало, чтобы свести концы с концами. Сам настоятель был человеком скромным, и скорее всего именно честность, а не лукавство, заставляла отца Владимира в кругу близких

ему людей говорить о пришедшей бедности с печалью: «Я теперь как сторож при храме». Это означало, что часто он проводил дневные часы в храме в полном одиночестве, если не считать матушку, которая денно и нощно старалась не оставить его одного. Так оно выглядело и со стороны: много лет не видевшее ремонта здание посерело, цоколь с южной стороны облупился, но так как средств на содержание храма постоянно не хватало, то неприглядность эта ею и оставалась, а человеку приезжему сразу же бросалась в глаза; но простой деревенский народ к ней как бы привык и уже не замечал, потому что у большинства в своём личном хозяйстве картина была не лучше. Отец Владимир не падал духом, слал земные поклоны и говорил, что Бог всё видит; а новые времена, пришедшие на русскую землю, вселяли в него надежду на лучшие дни, до которых, конечно, надо ещё дожить. Вот почему он порой не стеснялся помочь людям в решении их проблем, пусть даже это и несло в себе, пусть и условно, отступление от каких-то церковных канонов; а к оценке человеческих деяний, в том числе и своих, подходил с позиций добра и зла. Как он считал, батюшкино благословение, основанное на заповедях, для человека не есть преступное деяние, а в остальном Бог всем воздаст — и пастырю, и овцам, в том числе и заблудшим.

Они подъехали к церкви в тот час, когда нежаркое утреннее солнце уже покрывало купол своей осо-

бой позолотой и начинало заглядывать в её большие зарешеченные окна, но ещё не успело справиться с ночной обильной росой, блестящей тёмным глянцем на листьях деревьев и на траве.

Отец Владимир пригласил в храм, не задавая никаких вопросов, и Кондрашов понял, что друг обговорил с ним всё заранее, в чём тут же убедился.

— Дети мои, — сказал священник, стоя перед ними, — вы уже в возрасте, и хорошо сделали, что решили совершить обряд венчания. Христианский брак с нашей земной жизнью не оканчивается, он продолжается в жизни вечной. Сегодня вы здесь, на земле, и стремитесь к близости. В вашей вечной жизни ваша любовь не прейдет. «Тайна сия велика есть», — писал апостол Павел, и мы не знаем, как будет выражаться любовь после Воскресения. Ваша любовь, соединение ваше — это событие, раскрывающее все ваши силы и все ваши немощи. Вы будете друг другом обладать, познавать друг друга, и всё это будет дано вам Богом как дар, и, естественно, дар этот потребует от вас больших усилий по его сохранению и преумножению...

Отец Владимир говорил не громким грудным голосом; и в пустом прохладном помещении, ещё не в полную силу охваченном светом пришедшего нового дня, слова его торжественно зависали над ними, затем расходились по сторонам и медленно улетали под самый купол. Они стояли рядом, молча слушали слова праведника. В эту минуту Ивану и Ната-

лье казалось, что с ними разговаривает сам Господь Бог, это он смотрит на них маленькими чёрными глазками, излучающими добрый свет, а весь его вид говорит о доброте его христианской души.

— По словам апостола, — продолжал отец Владимир, — любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует и не превозносится, не гордится и не бесчинствует, не ищет своего и не раздражается, не мыслит зла и не радуется неправде, а сорадуется истине; любовь всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и знание упразднится. Примерьте слова апостола к себе, и если у вас всё так, как он сказал, — подойдите, дети мои, ко мне, и мы совершим то, ради чего вы сюда пришли.

Но прохладный жёлтый металл обручального кольца под сводами этого храма так и не коснулся Натальиной руки: голова у неё пошла кругом, к телу подступила непомерная слабость, и всё, что она видела и слышала, в одно мгновение истаяло, померкло. И ещё не понимая, что с ней происходит, уже теряя сознание, она всё-таки успела подумать, что у неё сегодня самый счастливый день и она счастливейшая женщина на свете.

Наталья пришла в себя уже в дороге, когда машина шуршала колёсами по асфальту в обратном направлении, а бледное лицо её обдувал бьющий через опущенное стекло прохладный ветер. Она сидела на заднем сиденье, рядом с Ольгой, Дёмин ехал

следом за ними. И не могла Наталья знать, как её, потерявшую сознание, успели подхватить под руки; как отец Владимир, собравшийся было дать им своё благословение, неожиданно изрёк: «Видно, Богу сие не угодно, а посему и я не должен пойти против его воли. Так что не ропщите, дети мои, я поступаю по-божески».

Поддерживая под руки, её осторожно вывели из храма, посадили в машину.

— Мы домой? — спросила она тихим, виноватым голосом. О том, что и как было, когда она потеряла сознание, решила не расспрашивать, хотя на душе беспокойно: кольца-то на руке не было, а оно теперь должно украшать его и греть душу.

— Домой, домой, — кивнув головой, успокоила её Ольга. — Впечатлительная же ты, однако. Тонкая душа у тебя, значит. Хорошо, что успели поддержать, когда отключилась, а то разбилась бы.

Где-то на полпути они свернули с шоссе на просёлочек, ведущий к берёзовой роще, но, не доезжая до неё, свернули ещё раз, на рубеж, разделяющий поля, и остановились возле ракут, которые редкой цепью уходили в синее безбрежье.

— Таких рубежей в нашем лесостепном краю много, — сказал Дёмин. — Эти полоски земли изранены войной, помечены окопами да бомбёжными ямами и не пахутся с тех самых военных лет, когда полгода стояла к северу от Понырей передовая северного фаса Орловско-Курской дуги. Фа-

шистов прогнали, а земля с тех пор не пашется. Святые места. «Как музей под открытым небом, — подумал Кондрашов, — всё видно: где был окоп, где блиндаж».

Небо заливало синью, солнечным теплом, даже припекало, и они расположились как раз под раки-тою. На бело-коричневой скатерти, расстеленной на траве, уместилось всё принесённое из машин. Дёмин открыл небольшую коробку.

— Это вам на память о сегодняшнем дне, — сказал он и достал из неё небольшие красивые рюмки. — Они для тоста, и каждый узнает, за что пьёт, прочитав надпись на своей рюмке.

Он быстренько открыл бутылку коньяка, наполнил их, стоящих на полоске плотного картона, и продолжил:

— Сегодня, друзья мои, большой праздник — второй Спас, медовый называется. Уходят от нас советские праздники, точнее, уводят их от нас; а ещё точнее — их убивают. Верю, что всё возвратится на круги своя; но вот народные праздники остаются, и будет большой грех, если мы его не отметим. А у нас с вами сегодня двойной праздник: как сказал апостол Павел и батюшка, ваша любовь и соединение ваше — это событие. Отец Владимир не успел совершить христианский обряд, а посему позвольте сделать это мне.

Голос у Дёмина торжественно-шутливый, но при этом важность момента не утрачивалась.

— Подойдите, дети мои... Нет, лучше я подойду к вам, и мы совершим то, ради чего вы сюда приехали.

С этими словами он подошёл к Кондрашову и Наталье, а на его протянутой ладони искрились солнцем два золотых кольца.

— Скрепите свой союз этими кольцами и живите счастливо. За это и будет наш первый тост.

Лицо у Натальи чуть побледнело, но весёлый вид Дёмина, его торжественно-шутливая манера говорить сработали Наталье на пользу: в голове у неё было ясно, блеснувшее на её пальце золотое кольцо придало лицу выражение, какое бывает у человека, испытывающего прилив неизведанных доселе чувств.

Подождав, пока закусят, Дёмин налил ещё и предложил:

— А теперь давайте почитаем, за что ещё выпьем.

— Совет да любовь, — прочитала Наталья на своей рюмке. — А ты, Вань?

Кондрашов молча поднял рюмку надписью к ней.

«За холостяцкую жизнь», — резануло по глазам, и она с испугом заметила, как солнечный блеск кольца начал бледнеть и покрываться пеплом.

Нет, не суждено никому из деревенских это знать, даже Варьке Хомутихе. А дни за днями — то ясные и тёплые, то небо начинало темнеть и грозиться дождём-занудой. Всё верно, у природы, как и у людей, своя жизнь, свои законы. Вот приближается осень, и всё меньше в природе зелёного; всё больше серое да жёлтое бросается в глаза: листву на тополях подпа-

лили то ли полуденный зной, то ли ночные холодные росы; по обочинам дорог, на пустырях да по межам жёлтыми огнями светофора загорелись тяжёлые кисти пижмы, на которую этот год оказался щедрым. Уже завтра засентябрит: ещё прозрачней станет воздух, свежо и росно будет после ночного великолепия, когда космическая синь опускается на землю и питает свежестью каждую травинку, каждый листок и цветик, и человека тоже, ещё несколько часов назад уставшего под этой самой синью от дневных трудов. Люди видят всю эту земную благодать; радуется ей и Варька Хомутиха, пришедшая первого сентября в школу посмотреть на внука-первоклассника. И снова не лопнул её единственный глаз, когда также думала и всё разглядывала, разглядывала Наталью и председателя на торжественной линейке, посвящённой началу нового учебного года.

Внук весь в неё: такой же беспокойный и говорун; всё норовит подёргать Алёнку за косичку, поставить подножку таким же, как он, впервые пришедшим в школу, чистеньким и нарядным. Рядом с Аленкой он совсем не смотрится — так, какой-то гриб плесневый, да и только. Оттого, наверно, Хомутиха так старательно приглядывается ко всем, кто не опоздал на эту церемонию, которая торжественно проста и всем хорошо знакома. Но каждый год здесь появляются новые лица, а те, кто пришёл сюда уже не впервые, конечно же, заметно изменились, повзрослели или постарели с прошлогоднего сентября.

Первоклассников всего шесть. Новая жизнь дотрепывала деревню: молодёжь, в большинстве своём, покидала родительские дома и начинала метаться по стране в поисках лучшей доли, и теперь всё реже можно было услышать на улице свадебные песни, после которых всегда радовали хозяев детские голоса.

А у Натальи материнская душа тает при виде нарядной дочери, которую высокий русоволосый старшеклассник Платонов Ванька усадил на плечо; и зазвенел в её руке голосистый школьный звонок, зовущий в новую жизнь. Зови, звоночек, зови! И Алёнку, и Ларису, которая тоже начинает новую для неё жизнь. А ещё тепло у Натальи в груди, что сегодня видит Ивана; выходит, Алёнку они провожают в школу вместе. Господи, как хорошо! Ведь без этого сентябрьского дня ей было бы довольно неуютно, а так легко дышится, светло думается.

Кондрашов приехал в школу не с пустыми руками: на заднем сиденье «уазика» лежала коробка с новым компьютером. И пусть в колхозной кассе вчера снова не хватало денег на солярку, он не поскупился и сумел взять его в райцентровском магазине, у частника «под честное слово». Рассчитается: урожай-то хороший, и убирается, значит, деньги будут. Да и с прошлогодним зерном удачно получилось, спасибо Николаю Максимычу: продали. Совсем не важно, что денег выручили не много, так как основная часть зерна пошла на бар-

тер, важнее — скоро должна поступить в обмен на него новая техника: как вчера позвонили, в конце сентября отгрузят.

Кондрашов сегодня отставил все дела и поспешил сюда, потому что каждый раз, когда заходил к нему Олег Борисыч, становилось перед учителем как-то неудобно. Скорее всего, это было чувство стыда за прохладное отношение к школе, которое проявлялось в его нежелании, точнее, в неспособности время от времени заходить туда и видеть её проблемы своими глазами, а не составлять собственное мнение о них со слов учителей или директора. Такая вот жизнь получалась у Кондрашова; но теперь у него к школе появился личный интерес: что ни говори, а сегодня в жизни у него событие — дочь пошла в первый класс. У него? Нет, конечно, не у него одного, и у Натальи тоже: для матери, как и для самой Алёнки, это праздник. Кондрашов смотрит на них и вдруг приходит к мысли, что таких приятных дней в его жизни вроде бы и не было. Наверно, по молодости ни одно такое событие его не трогало, и не потому, что жизнь детей его не интересовала: просто всё связанное с учёбой старших дочерей и сына несла на своих плечах Маруся, а он в дела их особо не вникал. А может, и было что-то похожее, близкое к его сегодняшнему состоянию, но по прошествии лет оно истаяло, поблёкло в красках, как старая занавеска на окне.

11

С наступлением осени забот у Маруськи всегда прибавлялось: в школе начинались занятия, и она должна была там делать всё, что делала все годы. Как ни назови — техническим работником или уборщицей, в любом случае обязанности одни и те же, и они забирали всю вторую половину дня. Первая его половина проходила в хлопотах по дому, так как домашнее хозяйство теперь держалось всё больше на ней; а Иван совсем от дома отбился, и живность, что находилась на дворе, — два подсвинка, куры с гусями, а ещё огород привязали к себе её накрепко. Но большой страстью для Маруськи они не были: вышла, ворота-двери настежь, сыпанула птице зерна и налила в железное корыто воды — клюйте, пейте, гуляйте. От коровы, как и многие в деревне, избавились: одни заботы, а молоко пить стало некому, в общем, держать её смысла не было. Если Иван не поспешит из дома, что, кстати, случалось довольно редко, поможет: вынесет поросётам ведро болтушки — картошки варёной, перемешанной с посыпкой, а она в это время схлопочет ему завтрак.

Сезон заготовок для неё оставался позади, и банки-склянки уже давно стояли в подвале, но чего-то ещё маленько не хватало, а вот настроя на эту оставшуюся работу не было. Хорошо, что приехал Сергей, и ей сделалось с ним веселее; да и помог с другими делами справиться: в доме перекрасили окна,

на веранде и потолок, потом фронтоны и даже трубу, не так давно обтянутую железом и покрашенную, но уже нуждающуюся в обновлении.

Сергей поработал и наотдыхался вдоволь, и теперь засобирался уезжать. Работа его по дому вся на виду, а так целыми днями где-то пропадал; говорил, с друзьями, но ей-то уже рассказали, что бегаёт на посёлок, к Лариске Натальи Савельевой, второй её дочери, которая закончила пединститут и с этого года будет здесь учить первоклашек. Марусякна сначала увидела её в середине августа, когда Лариса впервые зашла в школу и спросила директора: высокая, ладная такая, и Марусякне она сразу понравилась своей стеснительной манерой говорить, красивой, как бы горделивой походкой. Потом приходила ещё, что-то делала в классе, где ей было определено работать с первоклашками. «Надо же, — думала Марусякна, — нашёл забаву. Хотя кто знает, может, у них всё по-настоящему; и Сергей пока помалкивает, но сердце-то чует, что сын не ради забавы у неё пропадает. А вообще, надо порасспросить как-нибудь у Натальи, кума всё-таки».

Как только Сергей объявил, что ему пора уезжать, Марусякна в каком-то встревоженном состоянии, ни на минуту не выходя из головы думки: что да как он будет там, и хорошо бы ему собрать в дорогу побольше продуктов, чтобы не голодал. Иван послушал-послушал её утром, когда собирался на работу, и только усмехнулся с иронией:

— Надумала. Будет их тащить за тыщу вёрст. Лучше дадим ему денег, там себе что хочешь купишь, в магазинах всё есть.

— Дорого всё.

— Побольше дадим. А что, отдыхать, что ли, он едет? Работать, значит, свои деньги будут. На жизнь хватит.

Ивану проще — он мужик, а ей всё думается и думается.

В один из дней Сергей опять после обеда скрылся из дома и появился только к полночи; ужинать не стал — видно, накормили; пошуршал какими-то бумажками в своей комнатухе, потом свет выключил и затих.

— Серёж, чего долго не спал? — спросила его утром. — Слышу: какими-то бумагами шуршит...

Маруся замолчала: дальше говорить не стала, не захотела раскрывать ему свои тревожные думки. И он ответил не сразу, как ей показалось, обдумывал, что сказать, как сказать или ничего не сказать. Сказал:

— Скоро, ма, уезжать, вот и проверил документы. Да и спать особо не хотелось.

— Скоро — это как? — переспросила она.

— Сегодня у нас вторник, значит, перед выходными уеду. Я ведь уже перегулял свой отпуск.

А у неё одни вопросы:

— Как же с работой? А если выгонят?

— У меня с этим всё нормально. Я, когда уезжал, предупредил, что может понадобится допол-

нительный отпуск, и написал заявление. Первого сентября я должен быть там — это крайний срок.

Маруське подумалось, что Сергей хотел сказать ещё что-то, и не ошиблась, в чём тут же убедилась после своего очередного вопроса:

— Серёж, — спросила она, — сколько дома живёшь — и всё бегаешь на посёлок. Ты по-серьёзному или так, лишь бы провести время?

У сына по лицу поплыл румянец:

— Ма, я вот сейчас думал, как тебе об этом сказать, а, выходит, ты уже знаешь сама. У нас с Ларисой всё серьёзно, и я собирался сегодня тебе с отцом сказать, что мы подаём заявление в ЗАГС.

Маруська так и замерла:

— Вот это номер!

— Ма, мы так решили. Через месяц приеду, и распишемся. Потом я уеду снова, а Лариса будет дорабатывать до конца учебного года.

После этого разговора с сыном у Маруськи думок не убавилось; и ещё были разговоры — и с ним, и с Иваном, пока наконец не пришло к ней то самое состояние равновесия человеческой души, когда кажется, что проблема, над которой ломаешь голову, давно не существует, и всё должно быть, как задумал сын.

А Иван не удивился новости, не стал расспрашивать и прояснять какие-то детали:

— Я, жёнушка, знал давно, что за отношения у них и чем это кончится.

— Почему же мне не говорил?

— А что прежде времени молоть. Теперь скажу: я когда их первый раз увидел вместе, сразу понял, что их сама судьба сводит. И потом только наблюдал, как это происходит.

— Наблюдатель! — вспылила Маруська. — Нет бы сказать матери, что делается с её сыном, а он наблюдает и помалкивает! А может...

— Не может!.. — перебил её Иван. — О чём речь? Они уже взрослые и пусть сами думают за себя — так всегда о нас говорил мой отец. Точно так скажу и я: решили они — значит, решили.

Сергей уехал, и Маруська погрустнела. Теперь она стала присматриваться к Ларисе, и старалась делать это незаметно. Но что отмечал её пристальный взгляд — известно было только ей одной, так как по этому поводу она ни с кем не откровенничала, сама же исподволь приходила к мнению, что из Сергея и Ларисы должна получиться неплохая пара, потому что они даже внешне чем-то похожи друг на друга. Эту схожесть у Сергея как бы притушёвывали светлая копна волос — явно не отцовское наследство и — здесь уже точно: отцовская — ямочка на бороде, которую не спрячешь; но посади Ларису рядом — от переносицы на все четыре стороны похожесть, и увеличительного стекла не надо, чтобы разглядеть. И пусть коса у неё темнее, но форма носа, овал лица и ещё какие-то мелкие черты, на которые натыкался взгляд, заставляли думать о кровном их

родстве. А ещё они здорово похожи на Ивана. Как определила Маруська, с ней у них схожести никакой, а вот с Иваном — не промахнёшься. Да что там Лариса с Сергеем, уж как у Снегурочки с ним схожесть — ой-ёй-ёй! Можно думать, что все они дети одного отца. Маруська внимательно присматривалась к Натальиным дочерям на школьной линейке, и чем дольше смотрела, тем больше находила сходства с мужем; ей казалось, что Лариса и Алёнка от матери не взяли ничего, ну ни на капельку не похожи на Наталью. Маруська плохо помнила забубённого отца Ларисы и не могла даже предположить, сколько она взяла своей внешностью от него, но уж точно: из другого колена достались ей горделивая походка да эти ямочки на щеках. А у крестницы половина родословной покрыта тайной: кто её отец, и насколько она похожа на него — знает одна Наталья; но спросить — не спросишь: не так может понять, вроде как за насмешку примет. И всё-таки слух какой-то на первых порах проходил, что якобы оказалась обманутой.

Не менее внимательно она приглядывалась к Наталье и ничего предосудительного в её адрес сказать не могла: девчущки все чистенькие да нарядненькие, значит, к школе подготовить сумела; сама тоже неплохо выглядит. А какие серёжки красивые на ней!

Наталья стояла вместе с другими бабами, ожидающими торжества, и Маруська подошла к ней поближе; поздоровались весело: как же, кумовья, и

дети их задружили, и они вроде бы не против этого. Но поговорить здесь не пришлось — рядом чужие люди, да и началась торжественная часть. А ещё ей хотелось сказать Наталье, что дети их как от одного отца: уж больно похожи на Ивана — и Сергей, и Лариса, и Алёнка. Тоже не сказала, а только попросила:

— Ты, Наталья, как закончится всё, домой не спеши, а зайди к нам. И девчат своих с собой возьми.

Наталья было встревожилась, но тут же сама себя успокоила, видя на её лице доброжелательную улыбку: ничего плохого быть не должно. И не ошиблась — чёрные мысли Маруське в голову не лезли, и червь сомнения не разъедал её душу из-за неслучайности такого сходства. Она жила реальной жизнью, а весь окружающий её мир наполнен был светлыми тонами; и, может, потому незадолго до первого сентября, разволнованная неожиданным поворотом событий, связанных с отъездом Сергея, и в то же время осознающая, что у них с Натальей степень родства множится, Маруська попросила мужа присмотреть на рынке для крестницы какой-нибудь подарок:

— Вань, всё-таки девочка пойдёт в школу; как-никак, а событие в жизни, и пусть оно ей запомнится.

Потом передумала.

— Не, Вань, ты мужик и бабью натуру не поймёшь: что я хотела бы выбрать — не выберешь, и что понравилось бы крестнице — не угадаешь. Давай-ка лучше вместе съездим.

Кондрашов нашёл для неё в своих делах более-менее свободный час, когда можно было в хозяйстве что-то на время отставить, а заняться другим делом, но уже в райцентре, и при этом предупредил:

— Я с тобой по рынку или по магазинам таскаться не буду, сильно некогда. Ты ходи, смотри, выбирай — думаю, на всё про всё часа полтора тебе хватит, а я займусь своими делами. Где из машины высажу, там и встретимся. Освободишься раньше — приходи к администрации, я буду там, машину увидишь.

— Раньше не приду — когда ещё я там была-то, — уточнила Маруська. — Пока всё разгляжу, пока глаза мои не насытятся.

Был четверг, и рынок не работал. Кондрашов оставил её на автобусной остановке, возле магазинов, с трудом сумевших сохранить в конкурентной борьбе с частным капиталом за выживание статус торговых предприятий местного райпо. Прошлась по ним и всё ворошила цветастые тряпки, примеривалась; потом оглядывала полки с сувенирами, уходила и снова возвращалась, но практически ничего подходящего для подарка первокласснице так и не подобрала. Огорчению не было предела: неужели все хлопоты впустую? Она уже собралась было уходить из раймага, как вдруг продавщица, которой, по всему, изрядно надоело обслуживать привередливую покупательницу, на очередную Маруськину просьбу подать-поглядеть занедовольничала:

— Это мы с тобой уже доставали, и гляделки наши смотреть на них уморились: уже по третьему разу будем.

Маруська и сама понимала, что закопалась в тряпках, но как же не хотелось ей уезжать домой с пустыми руками!

— Плохо получится, если уеду без подарка, — как бы оправдываясь, сказала она. — Представьте: такая интересная девчужка; пошла в первый класс, а мужу приходится крестницей. Праздник у неё на всю жизнь.

— Да, большой праздник, — согласилась продавщица; и вдруг предложила: — А почему надо дарить только что-либо из тряпок или сувениров, если можно что-то ещё, например, если посмотреть вон там.

И она повела Маруську к самому дальнему краю витрины, где под толстым прозрачным стеклом искрилось многоцветье: ярко и не очень, матово поблёскивало и горело ровным жёлтым светом, и другими цветами, вливающими в человека удивление и восторг.

— У нас тут украшения из драгоценных металлов, — пояснила продавщица. — Не особо дорогие, но, поверьте мне, из них можно выбрать хороший подарок, и на всю жизнь притом.

У этой витрины Маруська стояла недолго.

— Вы знаете, маленькой девочке перстни и колечки ни к чему, — дала совет продавщица, — на её

пальчиках они не будут смотреться, а вот серёжки — да, они будут как раз, да ещё если такие.

С этими словами она достала из-под стекла небольшие золотые серёжки и положила их перед Маруськой; и тут же пояснила:

— С камешками ей не нужны, а эти будут самый раз. Видите, они сердечком, значит, подарок согрет любовью. Серёжки не только украшением послужат, они, как доктор, будут врачевать.

Ехали домой довольные — Ивану серёжки тоже понравились.

— Ну, крестница моя теперь настоящей невестой по школе будет ходить, — с мечтательной улыбкой восторгался он, — а женихи за ней гужом!

Маруська смотрела на мужа, излияющего радость, и ей тоже стало весело и легко.

— Вань, — предложила она, — давай вручим подарок Алёнке прямо первого сентября.

— В школе? — спросил Кондрашов.

— Почему в школе? Давай домой пригласим. Петушка зарубим и лапшицей угостим. Всё-таки мы почти как сваты теперь. И если Сергей твёрдо решил, то и нам с Натальей надо всё обговорить, что и как.

В школе Маруська не задержалась, наоборот, нашла возможность уйти домой пораньше, чтобы к приходу гостей приготовить стол. Лапша была сварена утром и остыть ещё не успела; Маруська трудилась над овощным салатом, когда услышала через

открытую форточку стук калитки. Вышла на порог: пришли. Обрадовалась:

— Вот и молодцы, что не опоздали. Заходи, свах, и, невестушка, не отставай.

У Ларисы по лицу румяна. Наталья спокойна.

— А могли опоздать?

— Да, ещё немного — и лапша остыла бы.

С шутками прошли в дом. Через несколько минут подъехал отлучавшийся ненадолго по делам Кондрашов; и скоро все уже сидели на кухне, довольно просторной и светлой, за широким раздвижным столом, на который Маруся успела наставить всякой домашней снеди, а напротив каждого стояла дымящаяся тарелка с горячей лапшой.

— На Руси перед лапшой всегда подносили, — весело сказал Кондрашов. — Предки и нам завещали хранить эту традицию, а посему наливаю себе покрепче, вам, дорогие мои женщины, что послабее и послаще, — вина виноградного, также собственного производства и не одного года выдержки.

— Вань, дело не в лапше, — решила поправить его Маруся.

Кондрашов посуровел лицом:

— Вот ещё учительница нашлась. Есть одна — Лариса, и хватит с нас. А если говорить серьёзно, то Маруся моя правильно подсказывает: дело не в лапше, хотя оно, это самое дело, о котором пойдёт речь и от которого вы также не в стороне, а имеете к нему самое прямое отношение, на Руси всегда отме-

чалось широким застольем с лапшой. Конечно, — и Кондрашов, как бы сожалея, прищёлкнул языком, — здесь надо бы сидеть ещё и Сергею, чтобы потом не говорил, что без него его женили, но так уж получилось у него...

Он остановился на полуслове, посмотрел на Ларису и поправился:

— У вас... — снова замолчал и продолжил: — Если говорить ещё точнее — у нас. Поставил Сергей перед фактом и уехал, а наше дело теперь — думай, что да как. Тебе, Наталья, они хоть что-то сказали?

— Сказали, и так же, выходит, как и вам: в трёх словах объяснили, что собираются расписаться через месяц.

— И что ты думаешь как мать об этом? — хмыкнул Кондрашов, думая сам о своём, только ему одному известном.

— А что мне думать, Иван Дмитрич, — чуть побледнев, спокойно ответила Наталья. — Они люди уже самостоятельные. Я с одной тогда чуть с ума не сошла, всё боялась, что выпадет ей бабье счастье плохое; а жизнь показывает, что зря боялась. Теперь стараюсь об этом не думать, хотя не получается. И думаю: живите, доказывайте родителям, что правильно поступили.

— Мы с Иваном точно так думаем, — сказала Маруська. — Они не дети, точнее, не маленькие, и начинают жить, как мы: выучились, пошли работать, не распутяги какие-то, в общем.

— Это мы сами всё думаем и говорим, — остановил её жестом руки Кондрашов. — А что думает и скажет Лариса? А то всё молчит и молчит.

Лариса сидела напротив него, рядом с Алёнкой, и по её лицу было видно, что разговор за столом для неё так же важен, даже, может, важнее, чем для кого-либо из присутствующих здесь; всё смотрела в одну точку на столе, ладони — одна на другой — на коленях; потом посмотрела на Кондрашова.

— Всё правильно, — подтвердила она; и ей вдруг сделалось жарко, на лбу, на щеках появилась испарина, — мы так решили, и Сергей сразу поставил родителей в известность. А мне сказал, что родители его не против.

Лариса замолчала, очевидно, посчитала, что сказала самое необходимое.

— Нечего девку мучить, если у них всё уже решено, да и у нас тоже, — решила облегчить участь Ларисы Маруська. — Я думаю, что они жить будут, ведь как они похожи друг на друга.

И она весело засмеялась

— Что-то есть, — согласилась Наталья.

Иван слушал их молча.

— Я на школьной церемонии присмотрелась: как же все они похожи на Ивана, особенно Алёнка.

— Что-то проглядывает, — снова подтвердила Наталья и в знак согласия кивнула головой.

— Это чем же она похожа на меня? — улыбнулся Кондрашов. — Что чёрненькая такая? Да если она

моя крестница, то вообще должна быть моей копией.

Все смеются, Алёнка тоже. У Натальи сердце тает от признательных Ивановых слов, которые понимают только они; и одновременно появляется в груди чувство какой-то опасности: ну зачем он так открыто говорит, а вдруг начнут догадываться, и великая тайна их будет раскрыта.

— А ну-ка, дочь моя раскрасивая, подойди ко мне, что я тебе покажу, — хитровато прищурив глаз, поманил её пальчиком Кондрашов.

Алёнка сидела между матерью и сестрой и улыбочиво смотрела на него, но с места не сдвинулась — очевидно, в чужом доме чувствовала себя стеснительно.

— Подойди, подойди, Алёна, нынче твой день, — подбодрила её Маруська.

— А это как — «мой»? — спросила она.

— Как бы хороший для тебя, добрый, — пояснила Маруська.

— Подойди, дочь, если крёстный просит, — и Наталья легко кивнула ей головой и одновременно моргнула глазами, тем самым высказывая полное согласие с просьбой.

Ещё несколько секунд — и Кондрашов подхватил Алёнку на руки и посадил к себе на колени.

— И вот что, раскрасавица ты наша, мы с тётей Марусей хотели тебе сказать: во-первых. поздравляем с первым учебным днём в твоей жизни. Сегодня ты была молодец, и дальше будь такой — весёлой, активной и красивой. А во-вторых, чтобы всем

нам этот день запомнился, решили мы сделать тебе подарок.

Пока Кондрашов говорил, Маруська успела метнуться в другую комнату и уже стояла рядом, что-то держа в руке.

— Будь, Алёна, умницей, учись хорошо, — подхватила она тон Ивановых пожеланий, — и будь счастливой. И вот тебе подарок — памятный, от крёстного. Выбирала его, конечно, я.

Она улыбнулась доброй улыбкой; затем наклонилась к Алёнке, расцеловала её — то в одну щеку, то в другую, а в завершение этой душещипательной процедуры приставила к её маленьким ушам серьги. И тут же добавила:

— Вот какие красивые мы были, а теперь стали красоты неопикуемой.

Два маленьких сердечка желтыми огоньками загорелись под мочками ушей; Алёнка их не видела, она почувствовала своим сердцем их трепетное дыхание и счастливо улыбнулась:

— Спасибо, тётъ Марусь.

Только и сказала. У Натальи слёзы близко — одна быстрее другой скатились по щекам. Лариса также тронута.

— Кажется, Снегурочка наша довольна подарком, и не одна она, — подвёл итоги торжественной части Кондрашов. — Вот только в своём довольстве забыла сказать спасибо крёстному. Но ты, Алёнка, не печалься — у нас с тобой всё впереди, и должок

этот остаётся за тобой: как надумаешь — скажешь. А пока давайте по тому славянскому обычаю закрепим наши поздравления и пожелания рюмочкой вина: лапша-то остывает, а её едят горячей.

12

Во второй половине сентября шум работ на полях поубавился, но напряжение, с каким люди провозжали и встречали каждый рабочий день, не спадало; а про выходные дни они давно забыли. И, наверно, поэтому Кондрашов не находил свободного часа, чтобы провести родителей и рассказать им последние новости из своей семейной жизни. Много раз «уазик» шуршал колёсами недалеко от их дома, а он бросал виноватый взгляд в его сторону и думал, что хозяйские дела не могут служить ему оправданием перед родителями. И всегда представлял себе сцену, которая при встрече с ними повторялась: мать выговаривает ему упрёки, обвиняя в несерьёзности по отношению к ним, пытается наставить его на путь истинный, а отец заступает, стараясь сына оправдать. Но даже если отец и был на его стороне, сам Иван в глубине души с матерью соглашался, так как понимал, что одиночество пугало их одинаково; только вот материнская душа, как более чуткая, отзывалась на одиночество быстрее. Иначе она поступать не могла: пустив сына на свет божий с отрезанной пуповиной, мать всё равно чувствовала в себе

биение его сердца, продолжала жить его болями и радостями.

Кондрашов видел, как жизнь обкрадывала стариков: она забирала всё, чем наделила в своё время, и он бессилён был изменить эти законы природы, по которым суждено жить человеку на земле. И, видно, так уж она устроена, что человек в большом смирении подходит к концу своего пути, безропотно принимая жестокие удары судьбы и не особо радуясь удачам. И чем дальше шёл по жизни Кондрашов, тем лучше понимал он этих людей, оставивших за своей спиной многое из того, что ещё предстояло ему пережить. Но понимать-то их понимал, а когда начинал сверять свои действия и поступки, допустим, с материнскими наставлениями и пожеланиями, итоги размышлений были не в его пользу: да, чаще всего он пренебрегал её советами и нередко думал, что, живи мать не в многодетной семье, непременно выучилась бы, и из неё могла получиться хорошая учительница. Однажды сказал об этом вслух.

— Да ещё какая! — откликнулся на его слова отец. — Она, Иван, и с четырьмя классами сильно грамотная, а дать бы ей поучиться, сколько сейчас учатся, — с Фурцевой в министрах бы ходила.

Кондрашовых в деревне считали продвинутыми стариками, потому что газеты им носили пачками, они знали многое из политической жизни страны и своего края, и уж как им было не знать, что в хрущёвские времена министром культуры в пра-

вительстве Советского Союза была эта единственная женщина.

— Я и с четырьмя классами могла дослужиться до министра, только вот сгубила себя по молодости, — как бы уточнила мать, а через короткую паузу язвительно добавила, указав пальцем на отца: — Сгубила себя, когда вышла замуж за этого пня горелого; и с тех пор вся моя жизнь насмарку.

А Кондрашов жил своей жизнью, по своим понятиям, потому что в кругу своего общения находил не менее интересных людей, которые в той или иной мере влияли на его интеллект. Это в самом начале отец и мать, а дальше по жизни ещё и другие люди, приблизившиеся к нему, например, как дед Илья или Олег Борисыч. И получалось, что родительские наставления ими и оставались: ну как бы он последовал материнскому наказу, когда она однажды ему строго-настрого наказала, чтобы он больше не ходил на посёлок, это значит — к Наталье, мол, иначе всё расскажет Маруське? Он её не послушал; но и мать проявила свои лучшие качества — перед Маруськой промолчала, тем самым не учинила в семье скандал, а взяла вину на себя. И здесь житейская мудрость матери никак не вязалась с её понятиями о чести и порядочности, но мать выбрала меньшее из зол...

Кондрашов в очередной раз шуршал колёсами по асфальту мимо родительского дома, и на сердце чувство новой вины: он даже не сумел привезти им зерно сам, а попросил чужих людей, чтобы мешки на-

сыпали, взвесили, погрузили на машину и разгрузили, куда укажет отец. И он уже проехал было мимо, но вдруг резко затормозил, дал задний ход. А когда переступил через порог — по просветлённым лицам родителей понял, что сделал правильно: дела каждый день, и даже по ночам, но ведь дорогого стоит побыть полчаса в родном доме, с самыми близкими людьми, которые этому рады всегда.

Мать, как всегда, сразу предложила пообедать:

— Может, поешь чего-нибудь, день-то хоть и осенний, а ещё потянется.

А сама уже гремит тарелками. Отец тоже не молчит, видимо, в настроении:

— Так, Иван, докладываю: с зерном мы справились, в мешках держать не стали, чтобы мышей не кормить, а ссыпали в бочки и закрыли. Должно хватить.

— Зимой сортировать семена будем — появятся отходы, тогда ещё выпишу, — успокоил он его.

У отца указательный палец кверху — длинный и толстый, как сарделька:

— Иван, не думай, нам и этого хватит. Ты лучше скажи, как вы там живёте? Внук дома? Ведь он к нам так и не пришёл, посмотреть бы на него.

— Ему, отец, и не до нас было: каждый день пропадал на посёлке, а перед отъездом своим объявил, что женится.

— Ну что ж, — хмыкнул отец, — и то хорошо, можно сказать, делает всё вовремя: армию отслу-

жил, работает, значит, пора и семью создавать. А то забродяжничают — не удержишь тогда: человека, сбившегося с пути, исправить трудно.

Мать перестала греметь тарелками, стояла и слушала.

— Вот мы и готовимся теперь, — продолжал Иван, — прикидываем, как да что будет. Они приходили к нам, посидели, поговорили, так что через две недели Сергей приедет, и будет свадьба.

— Что-то быстро у них, — осторожно заметила мать. — Хотя как быстро: раньше, бывало, приедут сваты — и отдают девку, хотя жених свою невесту первый раз в жизни видит.

— Это, старух, при царе так было.

Мать его не слушает.

— А ей-то много годов?

— Пединститут закончила, работает в нашей школе.

— Это, старух, зрелый возраст, — удовлетворённо сказал отец. — Здесь, Иван, ничего не поделаешь, природа своё берёт, так что готовься.

— Вань, — мать как стояла у плиты, так с места и не сдвинулась, — Вань, а как же они дальше жить будут? Тут или уедут?

— Она пока тут, он в Москве, а там видно будет. Говорит, она доучит год, потом заберёт её к себе.

На какое-то время в доме наступила тишина — все молча думали об одном и том же, но каждый череду надвигающихся событий осмысливал по-своему. Первой вышла из этого состояния мать.

— Это плохо, если поженятся, а жить будут по отдельности, — сделала вывод она. — У нас, Вань, тоже так было: поженились, а деда моего незадолго после свадьбы на лесоразработки и угнали.

— Ничего, старух, пережили, — прикуривая сигарету, миролюбиво сказал отец. — Это даже хорошо получилось: и деньжат заработал там, и много чего прислал и привёз домой. Знаешь, Иван, какое поганое время было: поженились, отделились от родителей, а в доме ничего, и нигде не купишь, и не на что. А тут попал — и начал слать домой; умудрился даже прислать чугунки и зингеровскую машинку. Там и деньги были большие, и товар был.

— Да, были бы деньги, — улыбнулся Кондрашов, вспоминая, как с месяц тому назад он вот так же приезжал к родителям и уговаривал выручить деньгами.

— Ему там было хорошо, а мне одной каково с маленьким ребёнком на руках, — возразила мать, — Алёшке как раз годик шёл.

— Старух, не одна, и не ты одна, а все до войны так жили, да и после войны тоже: надо — посылали и ни у кого не спрашивались, и не спрашивали ни у кого из таких, как я, согласия. Тогда у нас шаром покати — ни брёвнышка, бывало, не найдёшь, и домашняя утварь была редкостью из-за безденежья.

— Как сейчас, — подхватил Иван.

— Нет, не так, — возразил отец. — Сейчас людям пенсию платят, зарплата какая-никакая; пла-

тят, значит, можно что-то из необходимого прикупить, а тогда — как хочешь выживай.

— На то и была советская власть, чтобы жизнь для людей лучше делать.

— Ты меня, Иван, не агитируй, — одёрнул его отец, — я сам добре вижу; и скажу тебе, что эта власть, которая сегодня, она не для народа — и городского, и деревенского. Судить по газетам и телепередачам, она для проходимцев всех мастей, для жуликов, бандитов и казнокрадов; а порядочных людей она угробит.

— Это от самого человека зависит.

— И от человека тоже — согласился отец; и вдруг вспыхнул: — Ты раскрой свои глаза: народ вымирает, здесь скоро людей не будет, а ты вроде бы и не замечаешь.

— Замечаю, замечаю, — поспешил успокоить его Иван; и уточнил: — Умирают, кто совсем опустился и обществу без пользы.

— Они брошены государством, и тобой тоже. Советская власть давала им работу, вовремя платила зарплату, и всё для жизни им было доступно. А сегодня работы по стране всё меньше и меньше, людей она не удовлетворяет, а в итоге все работают без энтузиазма. Ещё хуже: вообще не торопятся на работу, и к тебе тоже, потому что платишь мало и не вовремя. Пока дождутся твоих денег — они обесценились. Получат их и гадают, на что потратить эти бумажки; а что там гадать: истрёпанную одежду-

обужку менять надо, что поесть-попить — тоже надо, чем обогреть жильё — в первую очередь за это. А он держит их в кулаке и уже видит, что снова в пролёте: денег-то на всё не хватает. Поначалу попечалится, а потом отупеет от этой самой печали, ну и давай тогда хлебать, заливать её. Глядишь, полегчало.

— Отец, не все же такие, — возразил Иван. — И я сам всё вижу.

— Не туда смотришь, — загорячился отец, что наблюдалось за ним довольно редко. — И те, что работают и ведут нормальный образ жизни, долго не протянут, сорвутся с орбиты раньше срока — также запьют или в трезвости погибнут. Иван, что бы ты ни говорил, простые люди со своими заботами частному капиталу не нужны, а он теперь рулит по стране и скоро к нам ворвётся, и будет разбойничать.

Иван отца не узнавал: всегда спокойный, рассудительный, он в своих крестьянских делах говорил о политике в масштабах государства мало, всё больше строил разговор на примерах из местной жизни, и вдруг его как прорвало — в таком масштабе и такие смелые выводы.

— Чего разошёлся, — одёрнула его мать, — на улице слышно. Так и деревню распугаешь, вся разбежится.

— Её, старух, теперь ничем не напугаешь. Эта жизнь — последнее после немца самое страшное; да, буду спорить — хуже войны.

Но материнские слова возымели своё действие: отец как бы присмирел, разговор его перешёл в спокойное русло.

— Вся страна сейчас на одних пенсиях держится, а какая она? — нищенская, и её тоже начали задерживать, ещё инфляция её съедает. Нет, народ, конечно, не утратил веру, надеется на лучшее. Кто покрепче духом — работу ищет, дома живность всякую разводит — будет что на столе, для семьи, да продать. Мы, Иван, по дому с бабкой копаемся, копаемся, и, глядишь, веселее жизнь: на стол есть что подать, и пенсия меньше тратится на продукты. А пасека тоже кое-какой доход приносит. Мне, Иван, жизни мало осталось, — раскуривая потухшую сигарету, продолжал отец, но мать снова дала о себе знать:

— Какой «кое-какой»! Вань, он мёд продаст — денежки в карман себе. А к столу-то есть подходит.

— Старух, ты же, когда посылаешь меня в магазин что-то купить, денег никогда не даёшь, да я и сам, кстати, не прошу. Ну отдам тебе все деньги, потом опять проси их у тебя.

— Оправдался, — сделала вывод мать, продолжая заниматься своими делами.

Но отец уже не обращал на неё внимания.

— Сколько ещё проживу — и сам не знаю, могу в любой день умереть. У меня сердце стучит с перебоями: стучит, стучит, потом — хоп! — и остановилось на мгновение, и снова пошло. Я, Иван, хочу,

чтобы ты перенял у меня пчеловодное дело. Отец мой пчёл водил, я продолжил, теперь бы и тебе заняться. А мне уже трудно слаживаться с ними — и силы не те, и зрение слабое.

У Ивана в груди холодок, словно откуда-то из самых глубин повеяло бедой.

— Отец, не думай об этом.

— Думай, не думай, а говорю что есть.

— Завёл разговор, — перебила его мать. — Я тебе тыщу раз долбила: колом не пришибёшь. Глянь, водку как глотаешь.

— Водку ещё глотаю, а кусок хлеба застревает, в горло не лезет.

Иван их слушал, взглядом то на отца, то на мать, то по стенам: вот они, родные, услышавшие первый его крик; здесь множились его года, здесь каждая малость, оставившая зарубку в его памяти, становилась дорожкой, — она была как ниточка, связывающая каждый новый день с прошлым: подёргай за неё — и на сердце теплым-тепло.

— Если я говорю, значит, знаю что, — продолжал отец. — Ты, Иван, как-нибудь подъедь, но далеко не откладывай — сейчас самая пора с пчёлами работать, готовить к зиме; протрусим рамки, утеплим, а мне одному нагрузно будет.

У Ивана снова холодок в груди, тревожные мысли ворохнулись.

— И ещё, — продолжал отец, — ты со свадьбой особо не заводишь — работы хозяйской у тебя ещё

много на полях, и фермы к зиме надо готовить, а она отобьёт тебя от дел. Ты лучше небольшой вечерок им собери, и довольно будет. А то как ещё бывает: на три дня заведут гулянки, и вся деревня пьяная — дым дугой. Какая тут тогда работа? Раньше, Иван, свадьбы справляли, когда крестьянин со всеми работами управлялся, поздней осенью или зимой.

— Не знаю, пока не решил, — признался он. — Так, конечно, легче было бы для нас.

Ничего другого сказать не мог: и сам понимал, что свадебные хлопоты всегда большие, и заниматься ими, кроме него, будет некому. Да и разговор с Маруськой на эту тему ещё предстоял.

— Вот и делайте, как легче, — поддержала отца мать. — Деньги целей будут. Мы, конечно, поможем — я с пенсии кое-что берегу, а им они пригодятся; теперь без денег-то ничего не делается.

— Мать, — рассмеялся Иван, — так всегда было.

— Всегда, — согласилась она, — но раньше было проще жить, и не всё решали деньги, а сейчас, куда ни чкнись, — давай, и счёт на тыщи теперь. Получишь, а на неё всего ничего купишь. Вот раньше буханка хлеба килограмм весила, а теперь полкило — располовинили, да к тому же подорожала в пять раз.

— Шурка, на твою пенсию теперь можно купить только ящик самой дешёвой водки, а дорогой, может, бутылки две, — в тон ей добавил отец, и тут же

поправился: — Не, старух, не водки, а вина — есть такое, не одну тысячу бутылка стоит.

— И так всю жизнь, — без особого сожаления продолжила мать, — я о хлебе думала, а он о водке. Пойду в магазин — хлеба, крупы, сахара, рыбки, а он только для своего горла, и по ульям прячет. Куда ни шагну, всё на пустые бутылки спотыкаюсь, собираю их и на хлеб в магазин несу.

— Во-во, — шутливо засмеялся Иван, — если бы не бутылки, и хлеба не на что было купить.

Они судили его, но совсем не жестоко, без какой-либо злости, потому что и они, и вся округа хорошо знали: у Кондрашовых бездельников и выпивох в роду никогда не наблюдалось; и Дмитрий Василич также выпивал в меру, что не мешало ему обустроить свой дом и вести нехитрое хозяйство.

Не в обиде на жену и сына был и хозяин дома. Но, конечно, первопричиной умиротворённости в этом неспешном разговоре был сам Иванов визит — долгожданный, с важными новостями, после которых на сердце у каждого из них сильнее разгоралось великое чувство родства и взаимопонимания.

Под впечатлением от этого разговора Иван находился и все последующие дни. Ему легко было делать свои обычные дела, какие-то хозяйские неувязки воспринимались им уже не так трагично, не в таких тёмных тонах, как нередко ему виделись.

Проезжая по полям, наблюдая за ходом работ на машинном дворе и на фермах, Кондрашов, как ру-

ководитель и первое лицо в своём маленьком государстве, всё больше утверждался во мнении, что он и его люди иначе бы жить не смогли. Трудно даже представить: как это — иметь своё большое поле, не огород, допустим, в полгектара возле дома, а целых пять, десять или двадцать гектаров где-то за дубняком или на Аркашином бугре, которые самому надо пахать, засеивать, а ещё как-то убирать выращенный урожай. У него с Маруськой должно быть пятнадцать — по семь с половиной гектаров на каждого трудоспособного приходится; у кого из дома трое работают — двадцать один с половиной.

Два года назад колхозная система затрещала по швам. Он не впал тогда в отчаяние, не поспешил, как многие, расстаться с прежним укладом жизни. И потом часто будет вспоминать, как после очередного собрания на эту тему встревоженные люди вываливались за порог дома культуры, строили всевозможные предположения, а кузнец Богдашкин, надевая шапку, крепко выругался и сделал вывод:

— Да пропади пропадом и земля эта, и жизнь такая. Думал, отработаю своё положенное, и — всё, дальше пенсия; думал, будет жизнь нормальная, ровная и безбедная, и без особых забот, а теперь, выходит, всё кобыле под хвост. Чует моё сердце: неразберихи будет море, и опять старики подставляй свои плечи, потому что молодёжь такую жизнь не потянет, да и не захочет.

Не один кузнец Богдашкин так думал и говорил. И Кондрашов не решился ломать наработанный уклад жизни; хотя на него давили, в противостоянии с местной властью сумел остаться при своём мнении, а люди поддержали его и после нескольких лихих лет доказали, что колхозная форма хозяйствования на земле для них самая благоприятная. И всё-таки отцовские слова из головы не выходили; их было много, они ещё недавно летели в него камешками и, как он думал, должны были остаться позади; им раствориться бы во времени, в каждом прожитом дне, но — странное дело — отцовские слова, наоборот, всё явственнее звучали в его ушах. И тут же вставали перед глазами лица односельчан и картины из сегодняшней их жизни — и тоже не безголосые, а в слезах и с горькими усмешками; и совсем мало весёлых и счастливых — они были где-то далеко-далеко. Получалось, что камешки не пролетели мимо, а попали в цель.

В один из дней, уже после обеда, Кондрашов решил посмотреть, как работает техника на свекловичном поле. Выехал за деревню, и машина легко покатилась по просёлку — узкому, затянутому пыльным подорожником и украшенному жёлтыми цветами пижмы. Отцовские слова всегда преследовали его в полном одиночестве, и здесь они снова приблизились к нему; потом проявились лица — сначала отцовское, как бы усталое, но довольное-довольное. Отец смотрел прямо на него, очевидно, что-то хотел

сказать, но так и не сказал, а только поманил к себе пальчиком. Рядом лицо Кулачка, ещё деда Ильи, Севалкина, а за ними, чуть дальше, нечёткие очертания женских лиц.

«Что это со мной? — спросил сам себя Кондрашов, и тут же с невесёлой усмешкой сделал вывод: — Доработался, выходит, что сам с собой стал разговаривать, сам у себя спрашиваю». Он остановился, вылез из машины. Было тепло и тихо; за берёзовой лесополосой, у самого горизонта, отлёживались облака — какие-то рыхлые и грязные, словно не из этого мира, наполненного теплыми красками осени. На другой стороне небосклона бесчинствовало солнце; и всё, что окружало Кондрашова, — недопаханное поле, пыльная трава вдоль просёлка, чуть дальше — длинный и горбатый скирд соломы с крупной серой птицей наверху, — всё земное дышало под его лучами покоем и блаженством, наслаждалось последним бархатным теплом.

В другое время в такое же умиротворённое состояние покоя мог погрузиться и Кондрашов, но только не сейчас, когда мелькнуло перед ним это видение отца, какое-то непонятное, тревожное, а его вопрос к самому себе оставался без ответа. «И правда, что со мной?» — мысленно переспросил Кондрашов; и начал перебирать события последних дней, предполагая, что именно с ними связано его сегодняшнее состояние. Да, всё было там, в тех днях: отцовские слова попали в цель, вывели его

из состояния покоя и заставляли смотреть вокруг себя по-новому.

Теперь он чаще обычного думал о родителях. С возрастом они становились ему дороже; особенно не по себе было, когда он видел, что сильно сдает отец: давал с бои его истрёпанный организм — и войной, и послевоенными неурядицами, когда каждый прожитый день был непомерной ношей, заставлял надрываться и его, и таких же, как он, как дед Илья и многие другие односельчане. И если раньше отец совсем редко говорил на эту тему, а значит, не было повода для беспокойства, то теперь его слова следовало принимать как сигнал тревоги.

Кулачок намного моложе отца. Этот шутник перед его глазами чуть ли не каждый день: то по току ходит, то на машинном дворе копается в каких-то железках. А недавно заскочил к ним домой — нечасто, но такое случается. Кулачков дом через дорогу, наискосок, считай, соседи; и по-соседски он никогда не стесняется зайти поздравить с праздником, рассказать какую-то новость — это когда у него есть свободное время и желание пообщаться. В дневные часы дома Кондрашов бывает редко, и соседа, как высокого гостя, если он появлялся на пороге, всегда встречала Маруся: поговорит с ним, угостит рюмочкой из Ивановой бутылки, что всегда стоит на окне, возле стола.

Именно поэтому и выплыло перед ним лицо Кулачка. Как рассказала Маруся, пришёл он утром, когда Кондрашов уже уехал, и прямо с порога:

— Скоро Покров, и я вот к празднику вам хренку принёс. Вчера за зерноскладом накопал.

— Какой Покров, — засмеялась Маруська, — до него ещё месяц надо жить. Да он и не престольный, у нас же Михайлов день.

— Неважно, — спокойно рассудил гость. — Сейчас как начнут все копать — и ни хреновины не оставят. А у вас уже будет. Вот тогда мне спасибо и скажешь.

— Ну, если так, давай его сюда, — сказала Маруська. — И спасибо тебе. Иван его любит лучше перца — и крепость есть, и аромат, и витамины с калориями.

— Спасибом не отделаешься, — ухмыльнулся лукавый сосед, тем самым обозначая цель своего визита.

Маруська поняла намёк: взяла с окна бутылку, налила чуть поболее половины стакана. Кулачок выпил, тыльной стороной ладони вытер губы.

— А закусить.

— Держи блинчика горячего, — и подала ему со сковородки блин, — прямо с пылу-жару тебе — не обожгись.

Потом добавила:

— А вообще, сосед, на такие дела надо ходить со своими блинами.

— Я пока до вас дойду — блин остынет, — отшутился Кулачок, дую на блин и скрываясь за дверью.

Кондрашов вспомнил Маруськин рассказ и рас­смеялся: и с Кулачком всё было ясно.

С дедом Ильёй, как и с отцом, у Кондрашова особые отношения — они стояли в отдельном ряду; и слова старика, как и отцовские, также преследова­ли, заставляли в мыслях чаще обычного возвращать­ся в прошлое, сея сомнения или придавая твёрдости его действиям и поступкам.

Лицо Севалкина растворилось перед ним так же быстро, как и недолгим был вчерашний разговор их на току.

— Уборка закончилась, мехток не работает, — сказал ему Кондрашов, — так что пора тебе, Севал­кин, снова на ферму, в слесаря, — готовить к зиме транспортёры, поилки. И хватит пьянствовать.

Севалкин приблизительно знал, что его хмельная жизнь на току заканчивается, поэтому Кондрашовс­кие слова для него великой новостью не стали. По­моргал редкими рыжими ресницами и сделал нео­жиданный вывод:

- Пьяница проспится, а дурак никогда.
- Но я же не сказал, что ты умный, да и дура­ком не обозвал, хотя дури на себя ты напустил мно­го. Что ещё скажешь?
- А зарплата?
- На днях решать будем. Скорее всего как в прошлом году.
- Сразу идти?
- С завтрашнего дня.

— Сапоги дорогу знают, только ноги поднимай, — весело сказал Севалкин, по всему уже размышляя, какой жизнью он будет жить зимой.

Севалкин мелькнул перед ним — и нет его, только солнце да безбрежная синь над головой. Кондрашов пошёл к скирду; сидящая на нём птица взлетела, сделала над просёлком большой круг и скрылась за лесополосой. Он обошёл скирд с солнечной стороны, выдернул горсть соломы изнутри, насколько могла достать рука: ячменная — мягкая, сложенная в погоду, она хранила в себе тепло, запахи зноя ушедшего лета. И Кондрашов подумал, что будет хорошо, если её не гнать на подстилку скоту, а поберечь на корм, на случай его нехватки. Ведь однажды было такое: летняя засуха сожгла весь травостой на лугах, хлеба и сеяные травы получились низкорослыми, и, по расчетам, заготовленного сена и соломы до выхода на пастбища не хватало. Просить было не у кого — засуха прошла по всем областям центральной России. И тогда в хозяйствах в пожарном порядке сформировали механизированные отряды, обеспечив их всем необходимым, и отправили в Казахстан заготовливать солому — по рассказам односельчан, так в далёкие пятидесятые годы отправляли туда же, на целинные земли, убирать первые урожаи. А через некоторое время железнодорожные вагоны с тюками прессованной соломы уже стучали по рельсам через всю страну к его деревне, и поголовье было спасено.

Мысли возвратились к фермам — и снова проявились женские лица, только чётче; поплыли перед ним лица доярок, телятниц, увидел в этом ряду Галю Селезнёву — она всё смеялась; и вдруг лицо её сморщилось, сделалось некрасивым, каким-то плаксивым, что ли, отчего Кондрашову даже стало неприятно. Но это длилось недолго, какие-то мгновения, после чего она снова начала смеяться, слёзы пропали, морщины разгладились, а левую её щеку высветило розовое облачко румянца. Да, почему-то только одну, левую, — правая же была как в тени, по-прежнему оставалась сморщенной и серой, словно покрытой пеплом.

Как они расстались, прошло несколько лет. Галя делала попытки вернуть его к себе, постоянно искала случая повидаться с ним один на один, убедить, что он ошибся, приняв такое решение, но Кондрашов избегал таких встреч и оставался при своём мнении. Она, как и Наталья, пришла к нему однажды в кабинет, и за ту минуту, пока они оставались вдвоём, попыталась воскресить в его памяти самое лучшее из их отношений, но в его душе так и не аукнулось ничего и не откликнулось на её призыв.

— Ты пришла прошлое ворошить? — не сказать что холодно, но как-то безучастно, что ли, или равнодушно, словом, без желанного тепла спросил он. — Не стоит. И ты должна это понять.

Дальнейшему их разговору помешали: в кабинет вошёл с документами на подпись главный бухгалтер

Горохов, пожилого возраста, спокойный и рассудительный. Галя посмотрела на Кондрашова глазами, полными слёз, отчаяния, мольбы, и, отвернувшись от вошедшего главбуха в противоположную сторону, будто бы смотря в окно, торопливо скрылась за дверь.

— Обиделась. Чем же ты её так сильно обидел? — подходя к столу, спросил Горохов.

— На меня сегодня полколхоза обижаются, — ушёл от ответа Кондрашов. — Кто матом кроет, кто плачет — я же не святой. И держит меня на этой работе только то, что изредка слышу в свой адрес спасибо. Насколько хватит сил дальше работать — не знаю.

В дальнейшем Галя таких попыток больше не делала; а Кондрашов, вспоминая тот неприятный разговор, всё так же оставался при своём мнении, хотя со временем в душе его проклёвывались ростки жалости к этой молодой женщине, к которой, как ему казалось, проявил непростительную жестокость. Но что делать, если иначе поступить не мог, так как в его сердце свила гнёздышко Наталья, они пустили на свет потомство и радовались жизни. А ещё Кондрашов помнил, и не давали забыть ему это наставление деда Ильи и родителей, что есть у него всё-таки Маруська, и тоже дети, и не надо гневить Бога в этих полусемейных и семейных делах. Всё это схлестнулось в нём в один из дней, прокатилось по жилам, как девятый вал, с такой разрушительной силой, что еле-еле выдержало сердце. Но выдержало; и про-

светлел разум, и окончательно утвердился Кондрашов, что поступил он тогда правильно, как говорил дед Илья, по-божески, причём с какой стороны ни посмотри. Маруська, Наталья, их дети — все они его, Ивановы, и бросать их он не собирался. Нельзя, преступно по отношению и к ним, и к себе. А Галя ещё найдёт свою судьбу — красивая, работающая, и ничего, что засиделась в девках, — многие холостые парни заглядываются на неё.

Кондрашов оказался прав: не прошло и года, как её просватали, и молодая семья уехала в город, где, по слухам, жизнь у неё складывалась совсем неплохо. Галино лицо мелькнуло перед ним — и нет его, как нет в этом краю теперь её самой. «И хорошо, — подумал Кондрашов. — Хотя город есть город, и людям в нём — кому как. Но всё равно хорошо — Наталье спокойней будет без неё».

Город по-прежнему уводил молодёжь из деревни, и Кондрашов представлял неустроенность людей, решившихся на такой отчаянный шаг — уйти от этих просторов. В один из зимних дней, он заглянул в библиотеку, и на глаза ему попался журнал «Молодая гвардия» двадцатилетней давности; открыл наугад страницу — стихи; строки врезались в память:

*А ты ворчишь: мол, скучен, агроном,
Тебе одно лишь просо да гектары...
Но разве пахнут в городе пшеном
Умытые дождями тротуары;*

*Но разве там, где грузные дома,
Где вольный ветер даже и не снится,
Сведёт тебя когда-нибудь с ума
Крылатый запах зреющей пшеницы?*

Кто ты, добрый человек, сумевший заглянуть в душу Кондрашову, — ведь эти стихи о нём. И неважно, что Кондрашов всего лишь ветеринарный врач, который каждый день заглядывает коровам под хвост, а не агроном; важнее, что он деревенский. А человеку, выросшему среди полей и перелесков, где высокое небо и далёкие горизонты, довольно сложно войти в городскую жизнь, тем более в такое поганое время, когда он практически никому не нужен — ни обществу, ни государству.

Много лет назад, ещё в советское время, Кондрашову пришлось наездом быть в Москве. Опускаясь в метро, он видел перед собой, как ему навстречу соседняя лента эскалатора несла бесконечную вереницу лиц, разных по самым-самым мелким и крупным чертам, которые людей разнят, и вместе с тем одинаково помеченных заботами земной жизни. «Персонажи сегодняшних дней из книги жизни большого города», — подумал он тогда. Под серыми гранитными сводами, в тусклом, словно неземном, свете, эти люди несли на себе совсем не понятную для него печаль, которая делала их, при всей их натуральной непохожести, одинаковыми, — они были из одного материала и в равной степени как

бы посыпаны пеплом сгорающих дней. «Неужели и я точно так выгляжу со стороны?» — молнией мелькнула мысль; и тут же погасла: нет, деревня всегда радовала светлыми, улыбчивыми лицами, и Кондрашов не исключение. Именно тогда его душа отвергла город напрочь.

Сегодня в стране другая жизнь; и теперь в своей деревне видит он такие же лица — словно посыпанные пеплом, но уже из другого времени, в огне которого сгорают радости и надежды людей на хорошую жизнь.

На сердце у Кондрашова потеплело — увидел родные лица; но мать смотрела на него с укором, Маруся как бы спрашивала, что с ним случилось; глаза Натальи мироточили небесной синевой, замешанной на тревогах и радостях украденной любви. Кондрашов читал их взгляды — разные по эмоциональной окраске, каждый по-своему затрагивающие струны его души, и не метался среди полевого простора в догадках, почему эти самые близкие люди так смотрели на него; он прекрасно понимал: его любили, и любовь их была не слепой.

И Кондрашову расхотелось стоять на этом просёлке, как не захотел он ехать на свекловичное поле, где работали свеклоуборочные комбайны; сел в машину и лесополосой направился в ту сторону, где в золоте погожего осеннего дня тосковал по нём Натальин дом.

13

Следующим днём было воскресенье. Кондрашов проснулся как обычно, на часы не смотрел, но в окна сочился сумрак. Можно бы ещё понежиться в тёплой постели, дремануть до того часа, пока в окнах не посветлеет и первые лучи солнца не нарисуются на стене, — всё-таки полевые работы сворачивались, и людям на сегодня он дал роздых, — но привычка сработала: встал. По той же привычке начал бриться; а когда Марусяка тоже намерилась вставать, чтобы приготовить ему скорый завтрак, он её остановил:

— Полежи. Сегодня людям дал выходной, так что я не спешу.

Когда вышел за порог, понял, что не ночной сумрак нависал над деревней: небо в тучах, оно грозилось затяжным ненастьем, и утренние потоки света не пробивались к земле, а разгуливали в безбрежных просторах космоса. «Вот тебе и на, — подумал Кондрашов, — вчера погожий день порадовал, и ненастье как бы не обещалось». Потом вспомнил: «Как же, как же — те самые грязные облака за лесополосой предвестниками и были. Отлежались за ночь — и сюда».

Кондрашов постоял за домом, у огорода, уже опустошённого и из-за своей черноты казавшегося чужим и холодным, тщетно пытался высмотреть и выслушать прикрытые мглой дали. Они были мертвы.

Лишь в той стороне, где лежала подкова железной дороги, очевидно, на переезде, горел уставший за ночь огонёк; ниже огорода, это уже совсем рядом, за луговинкой, еле слышно пошумлиwała речная вода; а дальше, за речкой, Натальин посёлок, куда его в очередной раз потянуло вчера с пустынного просёлка.

Наталью дома застал; она его не ждала, но тем радостнее была их встреча. Сидели за столом, говорили, жадно разглядывая друг друга, и столько было в их глазах любви и желаний, что не замечали, как летело время. Очнулись, когда за окном послышались весёлые голоса.

— Дочурки мои из школы, — успокоила она.

— Больше некому: одни на весь посёлок, — засмеялся Кондрашов, и спросил: — Что-то поздно они?

— Всё правильно, по часам, — возразила Наталья. — После продлёнки они — пока уроки поделают, пока пообедают да нагуляются.

Через порог они — весело; Алёнка взахлёб начала рассказывать о каком-то своём приключении в классе, но Лариса остановила её:

— погоди, Снегурок, ты сначала поздоровайся с крёстным.

— Поздороваюсь, поздороваюсь потом.

И снова о своём, и так же, взахлёб.

— Угомонись, — забирая портфель, остановила её Наталья. — Крёстному некогда слушать тебя, в другой раз расскажешь, когда будешь здороваться с ним.

Алѐнка не обиделась, так же весело приговаривая, скрылась в своей комнатухе.

Там он задержался ещё ненадолго: поговорил с Ларисой, прикинули, как и что у них будет, когда приедет Сергей. Уходя, сказал:

— Мне отец не советует большую свадьбу затевать.

— А какая она — большая, — пожалала плечами Наталья; и говорила она неопределѐнно — то ли спрашивала. то ли утверждала. — Зовут родных, самых близких друзей. У меня их немного, если только друзья у Ларисы.

— Мамуль, друзья и у Сергея есть, и у меня тоже; а кого будем звать — скажем, когда он приедет.

— Нет, так не бывает, — не согласился Кондрашов, — людей предупреждают заранее, чтобы наперед планировали, а за день-два — не годится. К таким мероприятиям гостям тоже надо готовиться: и чтобы с работы отпустили, и, может, наряд какой купить, и в парикмахерскую — кому надо. Так что определяйтесь раньше, не тяните.

Кондрашов вспомнил этот разговор и улыбнулся: такие они всегда, молодые-то. И он, наверно, был таким же беспечным, когда женился. Хотя какая тут беда, успеют пригласить, и гости не опоздают...

Ход его мыслей прервал стук калитки, затем услышал, как застучали в окно. Кто бы это? Стук повторился, и он был тревожным. Вышел из-за угла: стучал Витѐк, сын Любочки Суетовой, отцовской соседки.

— Что случилось, Витёк? Это за какое же наказание тебе не дали сегодня поспать?

— Дядя Вань, меня ваша мамка прислала, — тяжело дыша, зачастил парнишка. — Беги, говорит, скорее до вас и скажи, что с отцом плохо.

Дальше Кондрашов его уже не слушал: метнулся в дом за ключами от машины, на бегу сообщив Маруське, что с отцом что-то случилось, а уже через минуту они мчались по деревенской улице к отцовскому дому. Мать встретила его на пороге.

— Вань, беда, — утирая фартуком слёзы, еле слышно промолвила она, — отец умер.

Иван прошёл в дом. Отец лежал поверх одеяла на своей железной кровати, ещё довоенной, чудом сохранившейся; в своей любимой рубаше — в клеточку, уже поблекшей от стирок, с замётанными-перемётанными петельками для пуговиц и подшитыми рукавами — мать много раз пыталась её выбросить на тряпки, но в результате получались из такой затеи одни скандалы; спокойное морщинистое лицо, глаза закрыты, одна рука на груди, другая вытянута рядом, — словно прилёг человек на полчаса отдохнуть от земных трудов и не услышал, что к нему пришли.

И как щёлкнуло что-то у Ивана в груди, и перехватило дыхание. Отец, отец... да ты мне говорил, как будешь уходить из жизни, — ты это знал, и в свой последний день ты звал меня к себе. Отец, отец... Слёзы застилали Ивану глаза. Мать стояла рядом, и

в её фигуре уже не было той уверенности и стати, которые она носила в себе ещё вчера; и, может, поэтому, а, может, и от того, что сам он находился в шоковом состоянии, материнские слова доносились до него как бы издалека, и смысл их понимал с запозданием, словно мозг его просеивал их через сито и потом уже расширял и доводил до сознания:

— Вань, вечером сидели, всё телевизор смотрели; потом он ушёл на кухню — пойду, говорит, чайку попью. Слышала: кипятил, гремел чайником. Я легла, а у него всё свет горел, долго — либо валенок подшивал, он всё собирался глубокие калоши купить на них. Утром проснулась, лежу, а его не слышно из комнаты; обычно-то он раньше меня просыпался и начинал что-то делать, стучать стульями; учую дым — как закурит, значит, а тут тихо да тихо. Ну, думаю, поздно лёг и не торопится вставать. Я встала, хлопочу на кухне и вижу: время идёт, утро уже. «Дед, — зову, — вставай», а он не отзывается. Подошла к нему — лежит, потрогала — холодный.

Отец, отец... Вот и сделал их сиротами. Но сколько дел хороших за все годы переделал, и все на пользу семье, односельчанам, государству. Вреда никому не принёс за свою жизнь, и ушёл — никого не обременил заботами о старческой немощи или болезни.

Отец, ты, отец... ты же звал вчера его к себе, так понятно поманил пальчиком: мол, давай ко мне,

мой сын, я посмотрю на тебя последний раз, поговорю с тобой, пооткровенничаю по-родному. Отец его понимал и жалел как сына, и, по всему предчувствуя свою кончину, позвал к себе, а он взял да и проехал мимо. Слезами этой вины не искупить, но всё равно прости, отец, прости...

Слёзы текут, заливают Иваново лицо, мокрые губы шепчут слова-откровения. И в свете нового осеннего дня сама природа не осталась равнодушной к горю Кондрашовых: в тот же час за домом, на прогоне, застонали под налетевшим ветром старые ракиты — каждодневные свидетели его праведных дел; склонившись низко к земле, заплакало несильным дождём небо; и ещё два дня подряд придорожные деревья забрасывали охапками пёстрой листвы деревенскую улицу, по которой в последний свой путь на этой земле отправлялись все односельчане, — другой дороги к погосту не было

Дмитрий Василич лёг в углу старого кладбища, рядом со своим отцом, прожившим много больше сына, — всего одного года не хватило ему до ста. В копачи подобрались ребята ловкие — крепкие и с понятием: могилу выкопали аккуратно, предварительно убрав оградку в сторону; и также аккуратно опускали гроб на длинных, вышитых петухами рушниках давнишней материнской работы, бережно сохранённых в большом красном сундуке; и не менее аккуратно и быстро закопали, лишь отстучали по крышке гроба прощальные горсти земли.

Когда рушники вытягивали из-под гроба наверх, Василь, двоюродный брат матери, scomандовал:

— С кладбища ничего не уносят: плохая примета. Бросайте их туда.

И бросили. Мать смотрела на происходящее безучастно, Кондрашов — тоже с каким-то тупым равнодушием. Но позднее сожалел об этом: вышитые рушники остались бы хорошей памятью о времени, в котором жили родители, и о матери в частности, чьими руками они были сработаны.

За несколько минут вырос над могилой холмик земли; крест, сработанный деревенским плотником Иваном Ерёминым, украсил ещё один вышитый петухами рушник, но только короче тех, что легли на гроб; потом положили венки — много венков, букеты живых цветов.

Материнские слёзы начинали просыхать; она подошла поближе к Ивану, стоящему рядом с Ильёй, и тихо попросила:

— Вань, застолбил бы рядом с моим дедом место для меня.

Он посмотрел на мать осуждающе, и, хотя ничего не сказал, она поняла его, прочитав не сказанные им слова во взгляде. Илья думал так же, как Иван:

— Ты что, Шурка, боишься — земли не хватит. Хватит, её вон сколько; только хоронить скоро некого будет: всех, без разбору, бугор забрал. Но тебе ещё рано об этом думать.

— Не боюсь, и не рано — возразила мать. — Рядом с ним всю жизнь прожила, пусть и там вместе будем. А старики друг без друга долго не живут. И я не задержусь.

Отмерили шагами, забили колышки, принесли из машины и натянули по ним прочную нитку шпагата, который использовали на прессовании сена в тюки. Душа его протестовала против этого, но в то же время Кондрашов понимал неизбежность происходящего и начинал думать, что мать, как и отец, как и все люди, наверно, в таком возрасте, свыклась с мыслью о бренности своего бытия и свои слова и действия в решении подобных вопросов кощунственными не считает.

Затем рядом с могилой поставили те самые табуретки, которые сопровождали гроб от дома до кладбища, застелили их лёгкой скатерткой и выложили на неё поминальное; но прежде появились рюмки и спиртное. Люди поодаль мыли руки, подходили и со словами «Пусть земля ему будет пухом», выпивали кто что хотел — вино или водку, брали что-то из еды. И только после этого все потянулись с кладбища. За деревьями копачи прозвенели лопатами, очищая с них землю; захлопали дверцы машин, сопровождающих похоронную процессию. Как потом рассказывала Хомутиха, она насчитала их почти два десятка, и приехали в них родственники и друзья, чтобы в этот скорбный час выразить соболезнование, проводить в пос-

ледний путь человека, с которым они также не однажды общались.

Мать ушла с Маруськой и с другими своими детьми, его братьями и сестрами, которые также примчались на зов беды, а Кондрашов всё стоял у могилы — последнего отцовского пристанища и думал о том, что до чего же не прочен человек на земле. Вот отец: и вроде бы за всю свою жизнь никогда не болел, всего один раз лежал в госпитале, когда был ранен в конце войны, под Кюстреном, что на Одере, а на поди — до возраста своего отца не дожил ровно пятнадцать лет; значит, их отняла война и всё остальное, что свалилось на его плечи после войны. В этой части кладбища лежат всё больше из долгожителей; чуть дальше, куда оно стремительно прирастало в последние годы, улеглись уже намного моложе отца — двадцатилетние, тридцатилетние, но в основном не старше пятидесяти. И все — не убиенные, а ушедшие из жизни своей смертью, причём у всех она разная. Можно думать, что следующее поколение, к которому надо относить и его, Кондрашова, столько же лет не доживёт до возраста своих родителей. Так что же случилось на этих берегах Неручи и Оки, и дальше — до Москвы, и от Москвы до самых до окраин, если напал на людей великий мор и общество не успевает восполнять человеческие потери, не говоря уже о приросте?

Недавно Николай Максимыч передал ему с Лыловым «Правду», газету российских коммунистов, —

её Кондрашов не читал уже давно, считай, с советских лет. Интересная газета, и ни в какое сравнение с ней не идут ни областная — как печатный орган действующей власти, ни тем более районная. Почитаешь их — тишь да гладь кругом, и всё-то хорошо, жизнь с каждым годом улучшается; и словно нет умерших деревень и безработицы, стёртых с лица земли колхозов и совхозов, и не вымирает народ. А «Правда» называет вещи своими именами: да — в стране разруха, безработица, потому что заводы и фабрики уничтожены, безденежье и беспросветное будущее для простого человека. Тысячи городов разморожены, порушены и покинуты людьми — они умерли, как умирают на благодатной земле срединной России, на берегах Неручи, эти вот деревни. А люди, почти полколхоза, лежат в оградках, здесь. Выходит, умирают в его маленьком государстве, у него; значит, и он причастен к их смерти: кого-то не накормил, кого-то не обогрел или убил словом, или не поддержал в плохую минуту — в общем, как говорил дед Илья, поступал не по-божески? И отец ему об этом говорил, а он.... И что, теперь его вредителем в деревне назовут? Нет, этот ярлык не для него, потому что каждый день истрачен не на своё, личное, а на это вот хозяйство, которое позволяло людям на берегах Неручи обустраивать их личную жизнь. Другой вопрос: какая она получается? А у кого какая, и тут палка о двух концах...

Сколько стоял Кондрашов у могилы в полном одиночестве, сказать не мог, когда подошёл дед Илья и взял его под руку:

— Всё правильно, в горе побыть одному тоже надо, но, добавлю, не долго. Не у тебя одного горе — у всех, кто здесь стоял; твоё, конечно, несравнимо больше, но всё равно обряд тебе доводить до конца. Народ теперь уже в деревне, будет ждать, и отставать негоже от него.

На поминальный обед Кондрашов позвал всех в колхозную столовую, где Наталья справляла свадьбу своей дочери Настюшке и где намечали они сладить ещё такую же. Но это были его планы, и как показало время, они не сбылись.

14

Похороны остались позади, в узком кругу родственников отметили девять дней. Кондрашов пока ни с кем не откровенничал, как и что думают они со свадьбой, хотя сам практически определился. А выводы его были просты как божий день: во-первых, в семье траур, и никаких торжеств быть не должно; во-вторых, свадьбу можно бы и отложить на какое-то время, но теперь не мог он поступиться и советом отца — не устраивать большого застолья. Сергей на похороны не приехал, очевидно, после отпуска жил по своим планам, и ни Маруська, ни Кондрашов его не осуждали. До намеченного дня бракосочетания

оставалось ещё полторы недели. Они уже подумывали, что надо бы их планы донести до сына, но Сергей опередил — позвонил сам. Разговаривала с ним Маруська, и по-матерински безобидно дала ему понять, что большую свадьбу решили не справлять — не ко времени, а еще лучше, если её отложить на пару недель. Сергею ничего не оставалось делать кроме, как только согласиться с родителями.

И снова шли за днями дни; остались позади поминки в сороковой день, и всё это время Кондрашов разрывался в делах — то в хозяйственных, то в домашних. И хотя дату регистрации в сельсовете отставили на месяц, в суете скоротечных дней она постоянно напоминала о себе какими-то заботами.

С погожими днями, просвеченными солнцем, паутинками и золотой листвой, осень расставалась неохотно; она как бы тянула время, пока совсем опустеют поля и усталая деревня приготовится к нашествию дождей и холодов. Кондрашов даже подумал, что она не хочет огорчать Сергея и Ларису и тянет время, пока они в своём стремлении друг к другу не соединят горячие сердца под высоким, синим-синим куполом её красивого храма.

Лариса недели за две перед этим побывала в Москве, где вместе с Сергеем прошлись по рынкам и магазинам и выбрали всё необходимое для свадьбы: Лариса — недорогое свадебное платье и фату, Сергей — костюм, туфли и, как они считали, самые главные свадебные атрибуты — золотые кольца. Сам

Сергей приехал дня за три; много помогал матери по дому, бегал на посёлок, к Ларисе, и там они как-то готовились вместе, уже по-семейному решая свои вопросы.

И день этот наступил, погожий-погожий, светлый-светлый, тёплый и тихий. Осенняя дорога не пылила, и машины, а их было несколько, весело проскочили по просёлку до сельсовета и обратно. Но сияющий свадебный эскорт к дому сразу не поехал, а направился вначале в сторону кладбища, где Сергей и Лариса положили на могилу деда цветы, постояли в скорбном молчании. С цветами сфотографировала их Настюшка и у памятника односельчанам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны; и чуть позднее ещё у одного святого места — у обелиска воинам 81 стрелковой дивизии, погибшим 5-6 июля 1943 года при освобождении от немецко-фашистских захватчиков их малой родины. Посветлела лицом бабушка Шура, ещё не отошедшая от свалившейся на неё беды, когда счастливые молодожёны остановились напротив её дома.

— Не забыли в горе внуки, спасибо, — сказала она, подходя к ним мелкими шажками, и благословила: — Красивые, хорошие, дай вам бог счастья и хорошей жизни.

И только потом пришло веселье в Кондрашовский дом, где в просторном зале стояли свадебные столы, загруженные всевозможными закусками. Сергей и Лариса то сидели рядом, то выходили из-за

стола и танцевали — вдвоём; то все их поздравляли, то заставляли танцевать ещё — невестку со свёкром и свекровьёй, зятя с тещей. А ещё в этом застолье было много песен, разных шуток и забавух, от которых светились лица и не смолкал весёлый смех.

Радовалась счастьем своей сестры Настюшка. Алёнка, красивая и смышлёная, тоже понимала, что Лариса бесконечно рада свершившемуся событию и не представляет для себя другого счастья. Она не отходила в этот день от сестры, на бракосочетании и в застолье старалась быть рядом с нею; и столько было на её красивом личике счастья и радости, что, казалось, хватит на многие годы вперёд. Но жизнь это не подтвердит, да и не опровергнет.

Наталья радовалась вместе с Ларисой; собственно, невесёлых лиц, как ты уже, наверно, заметил, дорогой читатель, в этом застолье не было. Только иногда ненадолго уносили Ивана думки в прошлое, к отцу, да к Наталье подступала минутная тревога попеременно с жалостью: как-то сложится всё у Ларисы? — и тогда словно тень по лицу. Но свадьба, несмотря на немногочисленность её гостей, пела и плясала, разбивая на мелкие осколки тревожные думки родителей.

Молодые прожили в доме Кондрашовых ровно неделю — до того дня, когда Сергею надо было спешить на работу. Лариса уезжала с ним, и школа её не держала — впереди каникулы, а ещё директор школы пошёл навстречу, подарив несколько свобод-

ных дней. О билетах Кондрашов позаботился заранее, взял на проходящий утром поезд, так что в обеде они должны быть в Москве.

Всё, что хотела взять с собой Лариса, сложили в сумки с вечера. Наутро встали рано, завтракали и всё говорили, давали советы, какие-то наказания. Наталья с Алёнкой тоже пришли проводить. Алёнка жалась к Ларисе, и теперь в её глазах было столько печали, что Лариса невольно рассмеялась:

— Снегурок, отчего так сильно загрустила? Нельзя, я не насовсем уезжаю, а всего на несколько деньков. Побуду там с Серёжкой, посмотрю, где он работает, и назад. Ты лучше скажи, что тебе привезти.

Алёнка внимательно посмотрела на сестру, как бы обдумывая, что должна купить Лариса, и неожиданно заявила:

— Ничего не хочу. Хочу, чтобы скорее приезжала.

Все громко рассмеялись, а Наталья сказала:

— Она всё просыпалась по ночам и спрашивала, где Лариса. Один раз даже заплакала.

— Снегурочек ты мой, золотой, — Лариса прижала сестру к себе, поцеловала в щёку, — я постараюсь побыстрее к тебе вернуться.

Потом дружно встали и оделись; и уже было пошли к порогу, но Кондрашов скомандовал:

— Все — стоп! И присели на минутку.

Присели, помолчали, снова встали.

— Ну, теперь вперёд! — снова скомандовал он и с сумками в руках шагнул через порог.

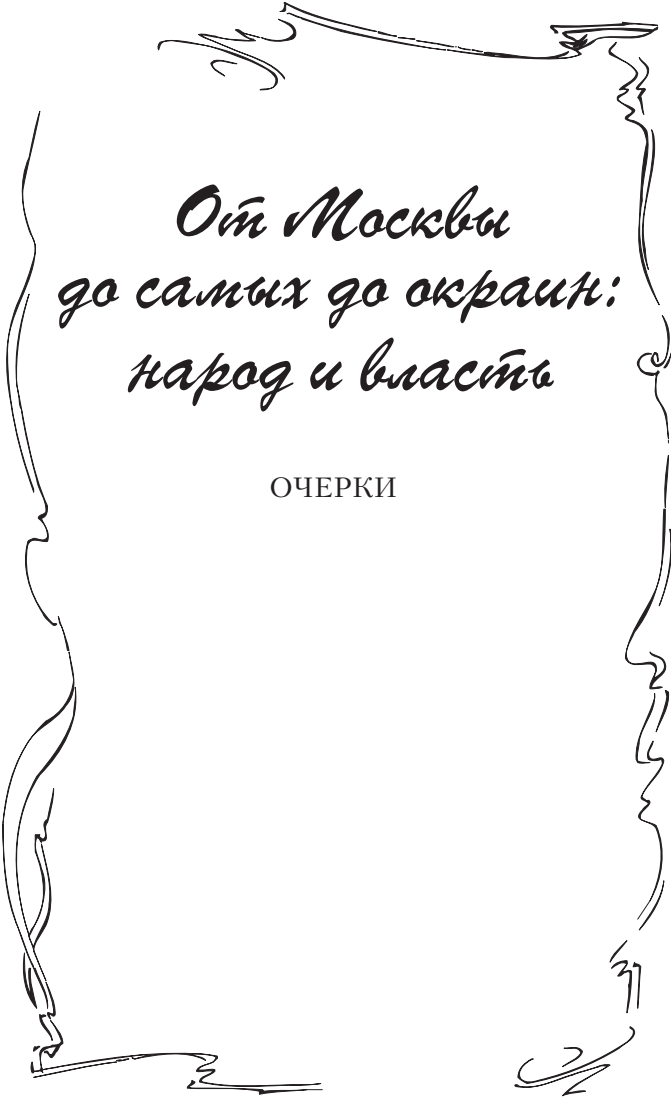
Их проводили до машины. Пока Кондрашов ставил сумки в багажник, Маруська поцеловала Сергея, потом Ларису; то же сделала и Наталья; Алёнка после поцелуев всхлипнула. Сергей и Лариса стояли рядом, как в тот день, когда они расписывались в сельсовете, а брачный их союз скрепили кольца; стояли и думали о том, что у них начинается новая жизнь, которая их позвала.

И ты, дорогой читатель, попрощайся с ними, пожелай удачи, потому что это будет уже другая жизнь, другая история любви.

Конец третьей части

д. Васильевка,
1.02.2011 г. — 1.02. 2012 г.





*От Москвы
до самых до окраин:
народ и власть*

ОЧЕРКИ

*Ни тепла, ни радости в природе,
Отшумела поляя вода.
И опять чубайсы и мавроди
Нас ведут неведомо куда.*



«ЧП» РАЙОННОГО МАСШТАБА

1. НА РАЗВАЛИНАХ ВЕЛИКОГО ПРОШЛОГО

В 70-е годы прошедшего столетия советская власть в нашей большой стране — Советском Союзе постоянно наращивала производственный потенциал: строила заводы и фабрики, дороги, школы, магазины, создавала новые организации, люди получали бесплатное жильё, то есть всё то, вокруг чего мы сегодня живём и ещё видим на земле. Это тот самый советский багаж, за счёт которого теперь уже маленькая наша страна старается выжить, практически ничего не создавая. На сколько хватит советского багажа — это уже другой вопрос, но факт остаётся фактом: уровень жизни человека в России снижается, продолжается разрушение экономики и социальной сферы.

Власть под флагом «Единой России» стремится сократить расходы по всем направлениям, а оглянуться вокруг — куда уж дальше минимизировать

страну: деревни вымирают, зарастают бурьяном, от колхозов и совхозов одни развалины. Пройдите вдоль Оки, от её верховья и вниз по течению, — безжалостная рука новой власти порушила деревушки и посёлки, в которых выросло и находило работу не одно поколение хлеборобов и животноводов. Практически ничего не осталось от некогда большой Подольяни, бурьян и кустарник наступают на Тагино, в бурьяне скрываются ещё недавно многолюдные Богородское, Гнилуша, Старополево, Ловчиково. Обезлюдели и стёрты с лица земли деревни и посёлки на берегах Неручи.

В период предвыборной кампании услужливые журналисты районной газеты «Приокская нива» решили поагитировать за кандидата в президенты от партии «Единая Россия» В. Путина: опубликовали несколько коротких информационных, которые, по их мнению, должны были убедить читателей, что он, будучи два срока президентом страны, а затем председателем правительства, работал эффективно, с пользой для народа. И вот какие факты они привели.

По переписи населения 2010 года, в Орловской области зафиксированы 344 сельских населённых пункта без проживающего населения, то есть по сравнению с предыдущей переписью число таких населённых пунктов увеличилось на 73 процента. Увеличилось количество деревень и посёлков на 17,6 процента, где проживают от одного до десяти человек,

причём такие населённые пункты составляют 28 процентов — почти треть! — от общего их числа.

И ещё один пример из этого ряда: средний возраст жителей Орловской области за годы президентства В.Путина увеличился на 1,3 года и составил 41,1 года (в 2002 году этот показатель составлял 39,8 года). Но при этом отмечается сокращение численности детей на 29,1 тысячи (20 процентов). Численность населения трудоспособного возраста уменьшилась на 38,7 тысячи человек (7,6 процента), причём половину всего трудоспособного населения области составляют лица старше 37 лет; а численность населения старше трудоспособного возраста уменьшилась на 5,4 тысячи человек (2,6 процента). Шокирующая статистика!

Всё реже деревни —
 последний российский редут,
Всё реже домишки...
 Куда нас сегодня ведут?

Не стало деревни,
 остался печальный погост,
А там полколхоза,
 безвременно все, в полный рост.

Вдоль Неручи, дальше и дальше,
 вдоль грустной Оки,
На кладбищах новых
 горят-догорают венки.

Лежат наши люди,
устав от призывов Кремля,
И снова я слышу:
— Пусть будет им пухом земля...

В 80-е годы в Глазуновском районе насчитывалось более сорока юридических лиц — производственных предприятий и организаций, выращивалось и вырабатывалось столько различной жизненно важной продукции, что район при своей рентабельности мог жить автономно, обеспечивать себя всем необходимым. Достаточно сказать, что в районе стабильно работали четыре завода — «Сигнал», кирпичный, маслодельный, консервно-овощесушильный и цех № 10 Орловского сталепрокатного завода, пять строительных организаций, в том числе две дорожные. Ежегодно сдавались в эксплуатацию десятки жилых домов для селян, строилось жильё и в Глазуновке. Пройдите по её улицам: эти дома на Молодёжной, Октябрьской, Ленина, в переулке Октябрьский и других — все советские, построенные 30—40 лет назад, и квартиры в них получали, как правило, простые люди труда. И не назовёте ни одного дома, построенного для них за последние два десятилетия, потому что их нет, как не строила эта власть ни школы, ни детские сады — она их только закрывала.

Земляки мои дорогие, а какой жизнью будут жить ваши дети, внуки, если всё, что имело государство,

на земле и под землёй, все богатства — заводы и фабрики, золото, газ, нефть, руду и уголь эта власть раздала сама и позволила нахапать её людям без стыда и совести, тем самым обокрала свой народ, оставив его один на один со всеми проблемами.

2. ВРЕМЯ ИНВЕСТОРОВ

На этом месте, на южной окраине Глазуновки, более 40 лет назад был пустырь, но в начале 70-х годов прошлого века здесь появилась новая организация — передвижная мехколонна №6, которая прокладывала оросительные системы, осушала болота. Много хороших дел было на счету коллектива мелиораторов не только в Глазуновском районе, и было бы ещё больше, но пришли окаянные дни, несущие на себе печать процветающего капитализма, — и организацию тихо-мирно похоронили, перекрыв ей кислород, то есть финансирование. Люди разбрелись кто куда, а производственная база осталась; и она оказалась в руках агрофирмы «Глазуновские чернозёмы», каких в 90-е годы областная власть наплодила на Орловщине немало, подмяв под них практически все, за редким исключением, советские колхозы и совхозы. Агрохолдинги сеялись щедрой рукой губернатора: появились «Орловские чернозёмы», «Орловская нива», а в каждом районе — их маленькие отпрыски, свои «нивки» и «чернозёмки»; в Глазуновке, естественно, «Глазуновские чернозё-

мы», «ниву» назвали «Приокской» по истоку Оки, берущей начало в Глазуновском районе.

И всё, что делалось в последующие годы на этих землях, сводилось к одному: высосать из сельхозпредприятий все соки! И высасывали, а потом, обанкротившихся, брошенных государством на самовывживание, ставших тяжёлой ношей для губернатора, их просто передали в частные руки инвесторов, обеспечив для них ту самую привлекательность, о которой мечтает каждый в роли инвестора и которая мало приносит пользы трудовому народу.

«Приокскую ниву», в которую входили четыре хозяйства из Очкинской и Медведевской администраций, приглядели люди из Москвы, и в Глазуновский район пришёл агрохолдинг «Орловский лидер». И он практически ничем не отличался от других инвесторов, пришедших в то время работать на земле по новым технологиям: поголовье скота пустили под нож, фермы опустошили, народ оставили без работы. С трудом, но сумела тогда районная власть отстоять Новополевскую и Васильевскую, где содержалось поголовье дойного стада, а в Архангельском, Куначе расправились и с коровами, и со свинопоголовьем, где, кстати, для их содержания имелись типовые помещения.

В Новополево оказался невостребованным мощный типовой животноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота на две тысячи голов, который в советское время приносил колхозу «За

коммунизм» миллионные доходы, что позволяло строить собственными силами для колхозников бесплатное жильё, дороги, производственные помещения, содержать детский сад, Дом культуры, спортивный комплекс, помогать местной школе.

Время работало на инвесторов по-разному: у «Глазуновских чернозёмов» дела клеились не особо хорошо, и в марте 2010 года всё, чем они владели, а это арендованная земля, производственные помещения четырёх бывших сельхозпредприятий — имени Чапаева, «Богородское», «Завет Ильича» и «Аграрник», перешло к «Лидеру», в том числе и производственная база на окраине Глазуновки, где инвестор разместил автопарк, получивший официальное название — филиал № 6.

Автопарк — это жизненная необходимость любого агрария-инвестора и не инвестора, тем более такого, как «Лидер». Судите сами: работает не только на глазуновской земле и в Орловской области; сезонные летне-осенние перевозки выращиваемого урожая — зерна, сахарной свёклы настолько велики, что приходится на вывозку его с поля привлекать автотранспорт частного. И эта необходимость обходилась ему в копеечку, так как именно водители-частники диктовали свои условия.

Я написал «обходилась» потому, что инвестор сделал всё, чтобы уйти от этого. Он закупил для себя столько большегрузных автомобилей, что в разговоре с частником о расценках становился в позу: мол,

принимаешь наши условия — работаешь, нет — до свидания, обойдёмся без тебя. Сколько платили? Например, тому же частнику за один тонно-километр 1 рубль 80 копеек, а в уборочную — 50-процентная надбавка, и, по мнению директора филиала Владимира Кузьмина, это вполне нормальная расценка.

А как своим, кто на их транспорте? Ясно-понятно, что и для своих наёмных работников инвестор не расщедрился; и этот конфликт, когда водители не завели моторы, как обычно, и не разъехались, возник не на голом месте и не ради потехи.

3. МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ

Водители филиала №6 агрохолдинга «Орловский лидер» 1 июня 2011 года предъявили администрации требование: выплатить заработную плату за апрель, пересмотреть расценки и оплачивать работу в выходные дни. Такие вот жизненно важные требования, причём без какой-либо руководящей и направляющей силы: все беспартийные, профсоюзной организации в филиале нет.

— Да нам каждый месяц зарплату задерживали, — рассказывал мне Иван Волков. — Только и слышишь, бывало, от директора филиала Малярова:

— Ребятёшки, потерпите несколько деньков (в слове «ребятёшки» ударение делал на букву «у»).

Ребятúшки с понятием — терпели, сколько было сказано. Потом снова к нему, а он:

— Ребятúшки, завтра.

Завтра, так завтра. А наавтра снова:

— Ребятúшки, надо бы ещё подождать. Потерпите.

Ребятúшки дальше терпеть не захотели и обратились в прокуратуру, после чего зарплату им выплатили сразу.

Прокурор района Александр Демиденко ситуацию прокомментировал так: «Я ещё в 2010 году выехал в эту организацию. Тогда водители также отказались отправляться в рейс, обосновывая свой отказ тем, что администрация филиала задерживает зарплату. О расценках речи не вели. Но ведь я ничего не мог предпринять, так как по закону у меня на столе должно лежать заявление работника, права которого ущемили. Никто из водителей тогда заявление не написал, и конфликт был исчерпан. В этом году заявления тоже не было, но люди в прокуратуру приходили, консультировались, а в итоге нами было вынесено представление».

Слова прокурора не расходятся со словами теперь уже бывшего водителя филиала Ивана Волкова, который только уточнил, что в прошлом году они трижды объявляли подобные забастовки, и после этого сразу же, через два-три часа, деньги на зарплату находились. Но на календаре был уже июнь 2011 года.

На следующий день в филиал примчался руководитель департамента холдинговой компании г-н Дрогайцев, который буквально рвал и метал. Смысл всего сказанного: коллектив доставляет ему сплошные хлопоты, и он этого не потерпит. Завтра же часть машин передаст другому филиалу, а на оставшиеся посадит по два водителя, чтобы работали в две смены. По словам водителей, нахамил, всех облил грязью.

— Нас тоже надо понять, — убеждал меня в нашей беседе Владимир Кузьминов. — Проблем у «Лидера» много, а ещё кредиты. Ну задержали на несколько дней, а по графику её должны выдавать 29 числа. Расценки нормальные, и кто хочет работать — зарабатывает и в тот день не положил ключи, а уехал в рейс.

В качестве примера он назвал мне несколько цифр: заработная плата по году — 12,5 тысячи рублей, но у кого-то есть две тысячи в месяц, а у кого-то 18 тысяч.

— Расценки низкие, — говорили мне водители, — повышать их не хотят, потому что автопарк большой, всем надо платить хоть что-то, но объёмов перевозок достаточно только в период уборки. Сейчас, конечно, есть заинтересованность, чтобы весь транспорт был на ходу, а сломайся в межсезонье — постоишь, помаешься, пока деньги найдут на запчастях. Потому и ходят-бродят тогда такие неудачники по территории, раздумывая, что им делать.

Забастовка — «ЧП» не только районного масштаба; а трудовой коллектив ещё подал сигнал тревоги, оповестив о конфликтной ситуации прокуратуру, редакции районной газеты, областных газет, в том числе и «Орловскую искру». Это было в традициях советской прессы — по первому сигналу прийти на помощь. И, сохраняя её, из всех газет только областная коммунистическая — «Орловская искра» встала на защиту водителей: опубликовала их коллективное письмо и направила корреспондента для прояснения конфликтной ситуации.

В Глазуновке о забастовке водителей предпочли не писать и не говорить, и, как я убедился, здесь работала административная система. Во всяком случае, редактор районной газеты Елена Денисова на мой вопрос: «Почему редакция не заинтересовалась конфликтом и не опубликовала письмо водителей?» — ответила вопросом: мол, кто я такой и почему меня это интересует? И только после того, как сказал, что представляю «Орловскую искру», услышал ответ:

— Да, письмо публиковать не стали; ознакомили с ним районную администрацию и посчитали это достаточным, тем более что зарплату им уже выдали.

Истинную причину того, почему письмо не вызвало интерес и не было опубликовано, я понял позднее, когда разговаривал с главой районной администрации Александром Осиным и первым заместителем главы района Любовью Рязанцевой. Прямо скажу, о коллективе водителей услышал не очень

лестные слова: мол, письмо с амбициями, предвзятое; и ещё слова из знакомой уже песни: работать не хотят; кто хочет — работает и, естественно, зарабатывает. И вообще об этом лучше не писать, не ворошить, а то могут автопарк перебросить в другой район, в Залегощь, например, а наш лишится налогов.

Вот типичный пример той самой привлекательности для инвестора, когда ущемляются права работников, а местная власть на его действия смотрит сквозь пальцы, предпочитая не ссориться. Уже потом мне говорили, что здесь никто ничего не решает: хозяин «Лидера» в Москве, ему сообщили и ждали, когда он приедет и во всём разберётся. Услышал это — и вспомнились мне стихи поэта-классика русской литературы 19 века Н. Некрасова из школьной хрестоматии советских лет, где были такие слова: «Вот приедет барин — барин нас рассудит...». Из Москвы приезжал господин Буторин, разбирался и, как в тех стихах, умчался в столицу.

4. НОВЫЕ БАРЕ И «СТРЕЛОЧНИК» ИВАН ВОЛКОВ

Этих стихов в школьных учебниках вы уже не найдёте: да разве позволят власть имущие их там помещать, а потом заставлять детей заучивать их, если эти стихи о них самих, в благодатную пору ограбивших простой народ и теперь продолжающих

его обирать, сидя в дорогих столичных офисах. А чиновники властных структур и прочие опричники им в этом помогают. Реальная жизнь простого человека, то, что делается сегодня в стране, заставляет думать и говорить о настоящем геноциде по отношению к нему. Народ погрузили в атмосферу девятнадцатого столетия, описанную ещё классиками русской литературы, и подтверждается это примерами из жизни того же филиала № 6.

Например, мне говорили о барском отношении к людям. Я не ошибся, назвав Ивана Волкова бывшим водителем: в филиале он больше не работает. Примчавшийся на другой день г-н Дрогайцев высказался высокомерно, в грубой форме: кому не нравится — ключи на стол. Ивану Волкову сказал прямо: пиши заявление и уходи.

Иван Волков уже в годах, семья большая. Работал в «Архангельском», пока хозяйство не обанкротилось. Пробовал организовать своё крестьянское хозяйство, оформил было себе гектары, но хищная рыночная система, опутавшая страну, проглотила плоды его труда, оставив семье одни кредиты и способность реально думать о жизни. И он, как некоторые его односельчане, подался тогда в Глазуновку, водителем в филиал № 6, который в двадцати километрах от его Никольского. А что было делать, семью-то кормить надо. К тому же ребята учились — старший в университете, младший среднетехническое образование получал.

Этот извечный русский вопрос — что делать? — Волкова никогда не мучил, тем более в этой ситуации. Кто как, а он считал, что так нельзя, когда с тобой, как с рабом; и какую работу ни выполняешь — всё не по-людски к тебе. В себе это не носил, не прятал, а высказывал своё мнение открыто. И тут не промолчал; г-ну Дрогайцеву это не понравилось:

— Не надо со мной бодаться. Переведу в слесаря, заставлю подметать.

А вот из письма водителей: «Один из водителей подошёл и попросил выплатить ему зарплату — у него умерла мать, на что получил от господина Дрогайцева известный ответ: «Увольте его».

Такая вот непростая жизнь у моих земляков — водителей филиала № 6 агрохолдинга «Орловский лидер». Я думаю, не лучше она и у работников других филиалов. Люди труда, которые в жару и мороз, в ненастье всегда в дороге, часто без выходных, особенно в весеннее-летний сезон, открыто высказали своё личное мнение. Услышат их или не услышат, какие выводы последуют — покажет время, хотя его прошло уже достаточно, чтобы их сделать. Единственное, чем пока ограничилась администрация, — уволила Бориса Малярова, мол, не справился с обязанностями директора филиала, и заставили Ивана Волкова написать заявление. Можно сказать, стрелочника нашли.

СКАЗ О ЧЕТЫРЁХ МИЛЛИАРДАХ

1. ЛАПША НА УШИ

Середина дня; деревенская улица пуста. Это в советские времена с раннего утра до полуночи на ней люди — и взрослые, и дети, шум да гам, а теперь, в годы капиталистического нашествия, на улице редкие прохожие, домики как пропололи — далеко друг от друга. Школу-девятилетку закрыли — здание в аварийном состоянии, вместо детсада осталось что-то вроде группы. Говорят, всех работников бюджетной сферы записали в партию «Единая Россия».

Привычный пустынный пейзаж нарушают две женские фигурки — это единокороски одаривают сельян партийной литературой, рекламными проспектами единопартийцев по сохранению здоровья орловцев. В них власть спрашивает у народа: куда бы они потратили четыре миллиарда рублей, якобы выделенных Орловской области Кремлёвской властью на здравоохранение. С чего бы вдруг такая щедрость? Да скоро выборы, вот и засуетились. Народ-то надо успокаивать, в который раз посулить-пообещать что-то, тем самым увести его от коммунистов, которым он стал больше доверять.

Почему четыре миллиарда, а не больше и не меньше? А это ровно столько, сколько было украдено мошенниками народных денег из областного бюджета по программе «Пшеница-2000». В своё время чиновники от областной власти под руководством бывшего губернатора Егора Строева провернули такую аферу, что до сих пор следственные органы никак не могут разобраться в этом. Или не хотят. И правительство, можно сказать, «компенсирует потери», тем самым даёт понять, что дело шито-крыто.

Куда потратить эти деньги, глазуновцам долго ломать голову не придется, так как за двадцать реформационных лет столько проблем в здравоохранении накопилось, что медицину стали называть бедной родственницей. Глазуновцы скажут: дайте деньги центральной районной больнице, в которой с каждым годом уменьшается количество койко-мест и из четырех её этажей задействованы только два; а когда люди болеют, их в стационар не кладут, объясняя, что нет мест. Дайте денег на её ремонт, на повышение зарплаты всему персоналу — врачам, медсестрам, техническим работникам, ведь она все эти двадцать постсоветских лет нищенская: например, у врача не больше четырёх тысяч рублей, а хочешь получить больше — удлиняй свой рабочий день, допустим, ещё на полставки.

Американцы разбомбили Ливию, в которой простая медсестра получала тысячу долларов, а образование и услуги социальной сферы ей проплачива-

лись государством. Дайте денег на новое оборудование, но только оно будет бездействовать, потому что не хватает специалистов, их еще надо будет учить и также платить достойную зарплату.

Так что, дорогие мои земляки, красочные буклеты про четыре миллиарда — это вам на уши от власти очередная предвыборная порция лапши. По телевизору, по радио — одни прогнозы и обещания хорошей жизни, но о реально достигнутом за последние 20 лет она говорит как бы вскользь, без сравнительных величин. При такой подаче материала на страницы печатных изданий удобно скрывать падение производства. Надо учитывать и еще один фактор: статистика сегодня не советская, и за искажение данных ответственность тоже не та.

И так уже двадцать лет вешают нам лапшу на уши, пытаясь создать мнение, что страна идет по пути развития. А народ видит обратное: ничего не строится, о росте производства товаров и речи нет. Дороги, детские сады, школы, жилые дома дослуживают — они из советского багажа. Огороды селян зарастают сорняками, потому что трудоспособного населения в деревнях поубавилось, да и с обработкой участков у крестьян стало больше проблем. Так называемые инвесторы, арендующие землю, попросту отворачиваются от местного населения, не хотят тратиться на обработку земельных участков, на содержание социальных объектов — школ, детских садов, культпросветучреждений, дорог и т.д. Положи-

тельные примеры сегодня можно привести только из советского времени, когда колхозы и совхозы заботились о крестьянах.

Увы, эти времена позади, мы их ещё помним; но антисоветский зуд начинается с новой силой всегда в преддверии выборов. Как же, украв у народа все недра, землю и жизненно важные отрасли — энергетику, оборонку, жирующим чиновникам и олигархам надо все это удержать в своих руках. А победят на выборах коммунисты — и жирные куски наворованного будут опять у народа. И все эти двадцать лет власть не хотела делать так, чтобы, как при советской власти, люди бесплатно получали квартиры, бесплатно лечились, учились, чтобы строились дороги, школы и работали промышленные предприятия.

В Глазуновке в этом плане тоже похвалиться нечем: за последние двадцать лет практически ничего не построено. Выдумывали всякие программы, но они были как мертворожденное дитя. И еще можно сказать, что какое-то время их пытались приукрашивать при помощи той самой статистики. Вот типичный пример.

Сколько шума было о программе «Славянские корни»: каждый год по 10 домов! Строить не просто дома, а коттеджи! И все просто сходят с ума в желании иметь такое жилье! Люди простые сходили с ума потому, что жилье дорогое и не по карману безденежным селянам, и кабалу эту на свою шею ве-

шать не хотели. А власти-то надо перед губернатором отчитываться: вдруг проверят. Придумали, и, можно полагать, не в одной Глазуновке. Представьте, дорогой читатель: едут глава района А. Сизов и его первый заместитель А. Астахов по моей родной деревне, присматриваются к домам: все они советской постройки, еще по программе «100» возводились, но выглядят прилично, как, например, домик Ерёминых.

— А что, Александр Викторыч, — говорит Астахов, — этот, пожалуй, подойдет; и шифер свежо выглядит, как новый.

И к хозяину: мол, давай дом оформим, словно он только что построен по программе «Славянские корни», а для этого всего-то надо пару раз расписаться. Хозяин не возражал: как же, власть. И скоро уже в отчете одним «славянским корнем» было больше. Сколько домов таким легким способом было построено — статистика не отражает, надо считать. Но главное было достигнуто: бывший губернатор шумел на всю страну об успехах, довольны были чиновники местного разлива, что с заданием справились.

За советские годы в городах, посёлках, деревнях построены тысячи улиц из многоэтажных и одноэтажных домов, некоторые из них и получили такое название: Советская. Есть такая улица в Орле, есть и в Глазуновке. Они как памятник тому великому времени! Сегодня решать вопросы обеспечения бесплатным жильем остро нуждающихся районная власть

понуждается судами. Но и в этом случае новое жильё власть не строит, она попросту выкупает дома советской постройки, причем ищет подешевле, потому что хоть она, эта власть, и буржуйская, но все равно нищая.

Незадолго перед визитом ко мне единокороссок с буклетами про четыре миллиарда почтальон принесла районную газету, на первой полосе которой был помещен большой материал о концерте, посвященном Дню пожилых людей, и о заседании в клубе «Вдохновение». Как пишет газета, на этих мероприятиях присутствовал глава Троснянского района В.Быков. И помещена фотография, на ней глава Глазуновского района С. Шамрин и гость из Тросны сошлись в рукопожатии. Смотрел на снимок и думал: «Ну зачем Быков приехал в Глазуновку? За опытом? Так в Глазуновке его, хорошего, уже двадцать лет днём с огнём не сыщешь. Передавать троснянский опыт? В Тросне Быков доруководился до того, что район — дальше некуда, лежащий, а сама Тросна стала похожа на деревню, где никакого производства нет, остались одни магазины». А когда узнал, в чём суть визита, просто опешил: оказывается, единокороссы выдвинули кандидатуру Быкова в депутаты областного Совета.

Уже много лет на депутатов областного Совета нашему избирательному округу не везет, со времён Т.Н. Коноваловой, оставившей после себя добрую славу и руководителя района, и депутата областного

Совета, не забывающего о простых людях. Вот доработал свой срок депутат от партии «Единая Россия», наш земляк В. Рубаков, но, по мнению людей, постоянно наблюдающих за деятельностью Совета, себя практически ничем не проявил, даже не отчитывался перед избирателями. Единственное, чем может он похвалиться, — все эти годы защищал интересы чиновников, которые разваливали экономику и социальную сферу глазуновских и троснянских сел, мошенничали, обкрадывали казну. Теперь на смену Рубакову подобрали «достойную смену» — Быкова, и при этом щедро вешают народу на уши лапшу, обещая бабушкам и дедушкам прибавку к пенсии, врачам и учителям прибавку к зарплате, а всем остальным четыре миллиарда, которые вырастут «на поле чудес в стране дураков».

2. ИЗ ХРОНИКИ ПРЕДВЫБОРНЫХ ДНЕЙ

Конец ноября. До вечера далеко, но деревенская улица пуста и неуютна; сумрачно — небо в тучах. От дома к дому, как и неделю назад, спуют «записанные» единоросски с предвыборной макулатурой, обливающей грязью советское прошлое. Почему «записанные»? На мой вопрос, зачем они вступили в «Единую Россию», созданную олигархами-капиталистами, одна из них, работающая в бюджетной сфере, неделю назад сказала, что их туда записали. Другая, безработная, скромно промолчала. На этот раз

они, довольные и весёлые, сразу поправились:

— Нас не записывали, мы сами заявление писали.

Поясню читателям, откуда это довольство: за то, что разносят людям бумажную пакость, партия власти, точнее, власть им платит. Выходит, «Единая Россия» создала в моей убитой Васильевке одно рабочее место. Сколько платит? Говорят, до пяти тысяч рублей. Откуда деньги? Можно смело утверждать, что народные. И думаю: не в одной Васильевке таким образом жизнь захорошела, а и по всей стране — от Москвы до самых до окраин.

На этот раз единоросски вручили мне буклет с портретом кандидата в депутаты областного Совета Виктора Быкова, ну а я им — «Орловскую искру», красную газету с портретом кандидата-коммуниста. В «Искре» написано то, чего ни за какие деньги не опубликует ни районная газета, ни тем более областная «Орловская правда».

Быкова с его взглядами на сегодняшнюю действительность, на будущее нашего края моя бунтующая натура отвергла неделей раньше, когда глава района Сергей Шамрин привёз его на 75-летний юбилей Глазуновского сельскохозяйственного техникума. Юбилейная сцена — не место для предвыборной агитации, а Быков — не выпускник техникума. К тому же кощунственно было говорить переполненному залу, гостям, съехавшимся из разных уголков нашей области, других областей, преподавателям, что жизнь хорошеет и село развивается. На моих глазах все

последние двадцать лет это учебное заведение власти убивали, а его коллектив, славный семейными династиями Кандауровых, Белевских, Жильцовых, делал всё возможное, чтобы выжить. На памяти не одна их делегация в районную и областную администрации за зарплатой. А министерство сельского хозяйства (допускаю, что там работал в то время и наш нынешний губернатор Козлов) попросту избавилось от техникума.

Через несколько дней судьба вновь свела меня с г-ном Быковым на его встрече с избирателями в селе Архангельское, на которой (как и на всех других встречах) присутствовали практически одни работники бюджетной сферы. Одна особенность выступлений Быкова: он ни разу не назвал колхоз, в котором работал председателем 16 лет при Советской власти, как не называл и должности, которые занимал после колхоза. Стыд ли его мучает за те годы, а может, боялся, что народ осудит за предательство Советской власти и Коммунистической партии. Думается, и то, и другое, вместе взятое.

Я помогу теперь уже действующему депутату прояснить память, а заодно открою землякам его тайну: Быков руководил колхозом имени Жданова Покровского района, от которого теперь остались одни руины; оттуда ушёл на повышение — работал председателем райисполкома, потом секретарём райкома КПСС. Ослаблена была память кандидата, наверное, и потому, что как раз в эти дни единомышлен-

ники Быкова разносили по дворам и квартирам фальшивки-газетёнки и диски с ложью и грязью на коммунистов. А уж Быков-то был чистейшей воды партоткратом. Значит, и грязь на него!

В общем, земляки мои, провели вас вокруг пальца. В разбеге дней затушёвываются даты, факты и имена, крупные и мелкие события, но в памяти народной они сохраняются, и это называется исторической правдой, которую фальсификаторы сейчас пытаются переписывать.

В своём стремлении всегда быть у власти (и при социализмах, и при капитализмах) Быков не одинок. Он там, наверху, нужен. Сбившись в стаю под флагом «Единой России», эти бывшие партоткраты предали простой народ, ограбили его, и продолжают это делать, стараясь заставить его забыть их «коммунистическое» прошлое. И самое мерзкое: они находят себе услужливых пособников среди ограбленных, готовых за кусок хлеба помогать им удержаться у власти, чтобы дальше творить своё чёрное дело.

3. СТРАШИЛКИ ДЛЯ НАРОДА

Пехов умер в одночасье, как говорят в народе, на ногах: пошёл проводить в последний путь односельчанку, простую труженицу, сказал у могилы добрые слова и упал. До медпункта всего-то полторы сотни метров, но не спасли. Так ушёл из жизни бывший председатель колхоза имени Ленина. Не стало

Пехова, но напоминают об этом замечательном человеке, о том времени, в котором жили люди старшего поколения, целая улица домов в селе Архангельское, бетонные дороги, связавшие колхозные деревни с трассой, с молочно-товарными фермами и свинокомплексом. Хозяйство прочно стояло на ногах, в передовиках не считалось, но среди колхозников было много награждённых орденами и медалями за достигнутые успехи в производстве молока, мяса, сахарной свёклы. Колхозные деревушки были полны народом, для всех находилась работа.

В моём архиве сохранилась фотография: Пехов со школьниками у входа в школу-восьмилетку. Сколько же ребятшек весело смотрят в объектив! Думаю, сегодня их не наберётся столько даже во всех сельских школах района.

Верным помощником Пехова в колхозных делах был секретарь партийной организации Василий Стефанович Васильев. Ближе к пенсии он работал председателем сельского Совета. Слава богу, не увидел Василий Стефанович того разорения, что пришло на нашу землю с так называемыми рыночными реформами.

Колхоз имени Ленина, строительству которого отдали свои силы Пехов, Васильев и их односельчане, «убили» в 1992 году, преобразовав в СПК «Архангельское». Пытаясь сохранить память о родном колхозе, об основателе первого в мире социалистического государства, Пехов вместе с Владимиром

Брыкалиным и другими единомышленниками установили в центре села бюст В.И. Ленина, создали первичную организацию возрождённой КПРФ. Но жизнь в селе ухудшалась год от года: не стало работы, молодёжь уезжала в дальние города, всё чаще шли по селу похоронные процессии, и меньше слышалось детских голосов.

Сегодня от производственных строений колхоза имени Ленина остались развалины. Животноводческие фермы, в которых мычало и хрюкало до двух тысяч коров и свиней, заросли чудовищных размеров бурьяном. В здании бывшего правления колхоза приютились почта, медпункт, библиотека и сельская администрация, в бывшей колхозной столовой прижились работники культуры, под горкой, за магазином райпо, — детский сад.

В селе остались только бюджетные организации. Именно их работники и определяют ход деревенской жизни, в том числе и в период выборов. Но определяют только под строжайшим патронажем районной администрации и ведомственных начальников из Глазуновки и Орла. Все эти люди не могут не видеть, что из-за безработицы и высокой смертности жизнь в селе медленно, но верно затухает. И никаких перспектив. Казалось бы, впору бить тревогу во все колокола. Но не бьют. Что мешает? У бюджетников-то идёт зарплата, пусть и небольшая, но у других селян и того нет. Большинство живёт на пенсии, на «чернобыльские», на детские пособия. Хорошие пенсии только

у тех, кого в начале 1943 года фашисты угоняли от родных мест в Германию и концлагеря.

Вот вам и президентская вертикаль, на которой держится власть, — от Кремля до Архангельского, в котором вот уже двадцать лет не горят по ночам фонари, не построено для простых людей ни одного дома, а кладбище прирастет и прирастает. Местная «вертикаль» и сама существует на правах бедного родственника, ищет, где бы денежку сшибить, не брезгуя мародёрством. Вот последние примеры.

В конце лета в Архангельском загрохотало железо на механизированном току, какие-то неизвестные люди стали выламывать всё металлическое. Первыми всполошились фермеры Кузин и Волков:

— Почему нам не продали мехток? Он нам нужен, а его растаскивают на металлолом. Кто разрешил?

В ответ услышали:

— Местная администрация.

Фермеры пожаловались главе района Сергею Шамрину, и разбой на мехтоку прекратился. Зачем ломали? Сельской администрации нужны были деньги на ремонт школы.

Та же история и в Васильевке, также относящейся к Очкинской администрации. Здесь разрушению подверглась колхозная котельная. Наступление на неё возглавил сам начальник районного управления образования Юрий Зуев. Загрохотала поваленная труба, всполошились жители близлежащих домов. Им ответили: деньги нужны на ремонт детского сада.

А если бы не оставил колхоз после себя тонны железа на току и на котельной, на что бы ремонтировали нынешние власти школу и детсад?

И эта власть агитировала население голосовать за «Единую Россию»! Метод убеждения был один: подsunуть народу очередную страшилку о коммунистах. Как мне по секрету рассказывали, на одной из предвыборных встреч глава Очкинской администрации Светлана Кузнецова наставляла подчинённых ей бюджетников приблизительно так: идите по домам, разговаривайте с народом, чтобы за коммунистов не голосовали; если они придут к власти — всё отберут у богатых, будет гражданская война.

Ведущий специалист сельской администрации Зоя Васильева в день выборов отправилась в посёлок Соревнование вместе с членом избирательной комиссии и переносной урной для голосования. Стоя на пороге дома, где было организовано голосование, она встречала каждого пришедшего получить бюллетень, свои присутствием как бы предупреждая: мол, не ошибись, я всё вижу!

4. ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

Сколько проживу, столько буду удивляться: какой же доверчивый наш народ! Из-за этой доверчивости и по простоте своей остаётся он постоянно в дураках, в чём убедился на выборах 4 декабря 2011 года, в день голосования на избирательном участке в

родной Васильевке, где присутствовал в качестве наблюдателя от КПРФ.

Сами по себе выборы для меня ничего нового не несли: почти четверть века работая редактором газеты, я не раз присутствовал на избирательных участках, причём самых-самых отдалённых. Помню, как в патриотическом порыве агитировали за Строева. Чтобы разговор с избирателями клеился и они голосовали дружнее, каждому представителю от районной администрации со склада райпо отпустили по ящику водки. Приезжал он на избирательный участок, машину к порогу, открывал багажник и говорил, наливая мужикам:

— За Егора Семёныча!

— За него, родимого, — весело поддакивали они; выпивали, вытирали губы ладонью и шли голосовать.

Слух о таком порядке голосования быстро пролетал по деревне, и даже те, кто вообще не собирался идти на избирательный участок, мчались на всех парах. Таким образом и был обеспечен высокий процент голосов, поданных за него как за кандидата на пост главы областной администрации. Сегодня нравы другие — и у тех, кто организует выборы, и у тех, кого на них приглашают.

В Васильевке избирательный участок всегда располагался в здании школы, но её из-за аварийности закрыли, и участок перекочевал в Дом культуры, благо в одну из комнат после многолетнего промер-

зания подвели тепло. Я как наблюдатель от КПРФ присутствую на выборах. Люди идут не спеша. По заранее определённым адресам члены избирательной комиссии поехали с переносными урнами. К 20 часам обеспечили явку в 71 процент.

Всё было обставлено так, чтобы лишить наблюдателя именно возможности наблюдать за ходом голосования. Урна для голосования стояла в дальнем углу, её постоянно загораживали спиной избиратели. Переносная урна ожидала подсчёта голосов в другом углу, тоже вне поля зрения наблюдателей. Председатель избирательной комиссии время от времени тихо переговаривалась с членами комиссии, шуршала перед ними бумажками. Думалось и предполагалось всякое, так что решился задать вопрос:

— Что за бумажки вы носите?

Члены комиссии смотрели на меня как на агрессора, вторгшегося в чужие пределы. Они почти не скрывали, что я мешаю им «работать». По моим наблюдениям, всё было подготовлено для того, чтобы вбрасывать бюллетени, но плохо думать о людях по причине всё той же доверчивости не мог. Это уже потом, после выборов, мне рассказали, что планы такие были разработаны и, к моему великому сожалению, осуществлены: «административный ресурс» сумел вывести меня на несколько минут из помещения для голосования.

На выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала

48 процентов голосов, КПРФ — 28,6 процента. Записал итоги, ожидаю, когда начнут писать протоколы. Не пишут, говорят, поступила команда: не писать. Разрешения писать протоколы ждали до часу ночи. Кто-то из членов избирательной комиссии, устав от многочасовой суеты, спал, склонив голову на стол, кто-то маялся, ходя из угла в угол.

Кто давал команду не писать протоколы? После выборов я обратился с таким вопросом к председателю территориальной избирательной комиссии Валентине Тарасовой, и она своего участия в этом преступном заговоре не подтвердила. Но я сегодня думаю, что по прошествии времени за беззаконие, совершённое единороссовской властью на выборах 2011–2012 гг., кто-то будет держать ответ. Мне рассказали, что заместитель главы районной администрации Андрей Никитин, присутствовавший на нашем избирательном участке с открепительным талоном (едва успел проголосовать до 20.00), мотался по другим избирательным участкам и требовал от председателей комиссий высокого процента голосов за партию власти. Этим же, по словам наших товарищей из Глазуновки, был занят и весь аппарат администрации. Особенно развернулся административный ресурс под покровом ночи.

Я уже было покинул избирательный участок, но, забеспокоившись, что в моё отсутствие результаты могут изменить, вернулся в комнату для голосования и сфотографировал черновики протоколов. Те-

перь как-либо изменить цифры голосования по участку было трудно.

Смотрю на итоги выборов по району. Картина складывается довольно пёстрая. Вот участок № 237, что в селе Ловчиково: здесь самый высокий процент голосовавших за «Единую Россию» — 76,1 процента, за коммунистов всего 6,1 процента. При советской власти это был известный далеко за пределами области край садов, раскинувшихся на сотни гектаров. Сюда за яблоками ехали люди даже из других областей. За последние 20 лет так называемые инвесторы загубили сады, они заросли жутким чертополохом и мелкоколесьем, стали непроходимыми. Инвесторы угробили животноводство — скот вырезали, и людям работать совершенно негде. Зато глава Медведевской сельской администрации г-н Кулешов обеспечивал самый высокий процент голосования за партию власти на всех выборах.

Например, на декабрьских выборах в списки было занесено 455 избирателей, проголосовали 446; явка — 98%, за «Единую Россию» — 76,7%, т.е. 342 голоса. Чеченский беспредел!

В разговоре со мной на эту тему г-н Кулешов успех партии власти объяснил своей предвыборной активностью: мол, сумел убедить многих, прописанных на территории администрации, в чернобыльской зоне, а фактически проживающих в других местах, чтобы в день выборов они приехали и проголосовали. Я тогда не поверил его вранью, и следующую

щие выборы мои выводы подтвердили. За кандидата в президенты от КПРФ Геннадия Зюганова в Ловчикове проголосовали уже не 6,1 процента избирателей, а 16,6 процента. Но самое главное: под камерами манипулировать голосами избирателей не рискнули, а использовали для этого переносные урны. В итоге 212 избирателей проголосовали в помещении для голосования и 162 — на дому! В последнем списке в большинстве своем те, кто годы не появляется в Ловчикове, кто прописан всего в ста метрах от места голосования, но уже давно забыл своё родовое гнездо!

Я ещё работал над очерком, когда получил свежий номер районной газеты, на первой полосе которой обращала на себя внимание информация о том, как проголосовали в Никольском Очкинской сельской администрации на президентских выборах. Такая же ситуация: 200 избирателей из 500 проголосовали в помещении, а 193 — практически столько же, по всему немощных или в день выборов неожиданно заболевших, — на дому! А ещё позднее мне рассказали, что в том же Ловчикове членов участковой избирательной комиссии при голосовании вне помещения для голосования заподозрили во вбросе бюллетеней в переносную урну, а перепуганная председатель комиссии, как бы оправдываясь за содеянное, всё повторяла: «Мне надо работать... Мне надо работать». Словом, творили что хотели.

Закономерность очевидна: где на избирательном участке были принципиальные или просто совестли-

вые члены избирательной комиссии и наблюдатели, там результаты далеки от кулешовских. Например, на участке, расположенном в Глазуновской средней школе, на выборах в Государственную думу за КПРФ проголосовали 30,6 процента избирателей, в бывшем колхозе «Заря» — 27 процентов, в Новополево — 24, в Архангельском — 25 процентов.

5. ДЕПУТАТЫ ОТ ВЛАСТИ

В предвыборные дни я проехал по многим населённым пунктам района, разговаривал с людьми разных возрастов. Простой народ охотно брал газету коммунистов «Орловскую искру» — она вызывала неподдельный интерес.

Однажды заглянул в Сеньковскую школу: красивая, ухоженная. Директор Лидия Якушина гордится тем, что буквально всё в школе сделано руками учителей и учеников. Любовался и я разукрашенными стенами, цветами, вязаньем, выполненным учениками. И радовался: сколько же времени и старанья надо, чтобы создать такой уют в школе, такую красоту в каждом классе, в коридоре!

— Всё своими руками, ведь денег не дают, — ещё раз пояснила директор. И, увидев, что я делаю пометки в блокноте, попросила: — Вы только не пишите об этом в «Орловскую искру». Да и газету свою здесь никому не давайте. Не хочу неприятностей. А вообще, нам хорошо помогает Рубаков.

Ещё раз поясню: Виктор Рубаков — руководитель местного хозяйства, теперь уже бывший депутат областного Совета от «Единой России». Я ходил по улицам Сеньково и услышал другое мнение: Рубаков больше помогает Тагинской средней школе, так как его дети теперь учатся там. И сам собой возник вопрос: кто будет помогать другим сельским школам, если в районе всего два стабильно работающих хозяйства, а власть бессильна выполнять свои прямые обязанности по вопросам образования? И всё ложится на плечи учителей, родителей и их детей.

И снова нельзя было не удивиться, как ретиво оберегает партия власти простого человека от правдивого слова коммунистов. Всеми силами, любыми способами старается убедить людей, что нет и не будет лучше этой власти, которую в Госдуме, в областном Совете представляют в большинстве своём господа капиталисты, банкиры — и все они миллионеры и миллиардеры.

Уж как хвалит сама себя партия «реальных дел»! Но сколько ни гляди, всё равно не увидишь ни одного детского сада, ни одной школы, построенных за последние двадцать лет. Избранный депутатом Быков пообещал: буду лезть из кожи вон, чтобы отремонтировать капитально Глазуновскую и Тагинскую школы, обновить кровлю на Сеньковской школе. И наивные люди поверили, хотя делать ему это не придётся: ведь ремонт социальных объектов — повседневная задача власти, независимо её от партий-

ности, для этого и собираются бюджетные средства. Планы ремонта школ свёрстаны давно, просто Быков заглянул в них одним глазком и делает вид, что это он, Быков, может заставить исполнительную власть пошевелиться.

Партия «Единая Россия» перед выборами приписывала себе в заслугу всё, что делалось за бюджетный счёт, при этом отрекалась от безработицы, развала промышленности и сельского хозяйства, беспорядка и обнищания простого народа, коррупции и казнокрадства, которые она породила. Народ, несмотря на нынешнюю информационную изоляцию, всё равно узнает своих «героев».

Рубаков пять лет прозаседал в областном Совете. Якобы радел о народе, а народ жил всё хуже и хуже. Не случайно медики и учителя района на встрече с губернатором Козловым задавали вопросы: когда повысят им зарплату? Когда выплатят долг по коммунальным? Не успел задать я губернатору свой вопрос: двадцать лет назад в Глазуновке была сдана в эксплуатацию районная больница на 250 мест; почему сегодня в ней позволяют разместить всего 50 больных, остальным — от ворот поворот, в то время как этажи пустуют.

Рубаков ничего не сумел сделать, чтобы стала приличной автодорога до седьмого чуда Орловщины — истока Оки, где, кстати, расположено подразделение его хозяйства. Глазуновцам повезло: однажды проехал по этой автодороге губернатор,

говорят, был за рулём сам, — и появилась на ней дорожная техника. Всё верно: чудес на свете не бывает, и Быков, как старик Хоттабыч, их не со-творит.

О том, что происходит вокруг нас, больше передаётся из уст в уста, потому что всякая информация не в пользу власти на пути в газету отфильтровывается. Ну разве разрешит она опубликовать в районной газете, что перед выборами по Хуторо-Подольяни прошёл среди пенсионеров слух: если не проголосуют за Быкова, Рубаков не будет в день пожилого человека проводить праздник и выделять ветеранам по 500 рублей? По нынешним временам для ветерана из заброшенной деревушки за 500 рублей посидеть рядом с Рубаковым за праздничным столом, почувствовать себя уважаемым человеком — большая радость. Потом поймут, что это была предвыборная наживка.

6. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Жизнь — бурная река, в потоке которой выживать человеку становится всё труднее и труднее. Я пишу эти строки и думаю о том, что завтра одних людей не станет, они погибнут в её пучине; других она выбросит на берег, тоже не сумевших перебороть её течение; третьи будут плыть и бороться, помогать ослабевшим физически или слабым духом. Жизнь проявит каждого. Я знаю, что завтра в этой реке в

плохую минуту кто-то из моих друзей не подаст мне руку (такое уже было) или просто отвернётся, словно не заметит. Но, что бы ни окружало меня из неприятного, как бы трудно ни было, я буду верить до своего последнего часа: у моих земляков, на всех просторах — от Москвы до самых до окраин — наступят лучшие дни, в которых проявятся ценные человеческие качества.

Март, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

С ДУМКОЮ СВЕТЛОЙ О РОДИНЕ

«По буграм трава — то рыжая, то бурая...»	6
Родина	8
Я — Человек!	10
«Над поймой туман...»	12
Кто я?	13
«То лугами я, то просёлками...»	14
«Все говорят, а я молчу...»	16
«В жизни этой несносной тревожные мысли...»	18
Вечное о вечном	20
«Просыпаются рощи белые...»	22
Солнце	23
«Тень» да «тьень» поутру...»	24
Беда со счастьем	26
На пороге осени	28
Деревня ахнет	30
Родство	32
Осенние цветы	33
«Польнюю зарастают межи...»	35
Мазай	36

УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Повесть

Украденная любовь. Повесть. Часть третья	39
--	----

**ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН:
НАРОД И ВЛАСТЬ**
Очерки

«ЧП» районного масштаба	217
1. На развалинах великого прошлого	217
2. Время инвесторов	221
3. Мы не рабы, рабы немцы	224
4. Новые бары и «стрелочник» Иван Волков	228
Сказ о четырёх миллиардах	231
1. Лапша на уши	231
2. Из хроники предвыборных дней	237
3. Страшилки для народа	240
4. Под покровом ночи	244
5. Депутаты от власти	250
6. Вместо заключения	253



Валентин Митрофанович Васичкин

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Подписано в печать 30.05.2012 г.
Формат 70x100¹/32. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. п. л. 10,4. Тираж 500 экз. Заказ № 3885.

Отпечатано в ОАО «Типография «Труд».
302028, Орел, ул. Ленина, 1.